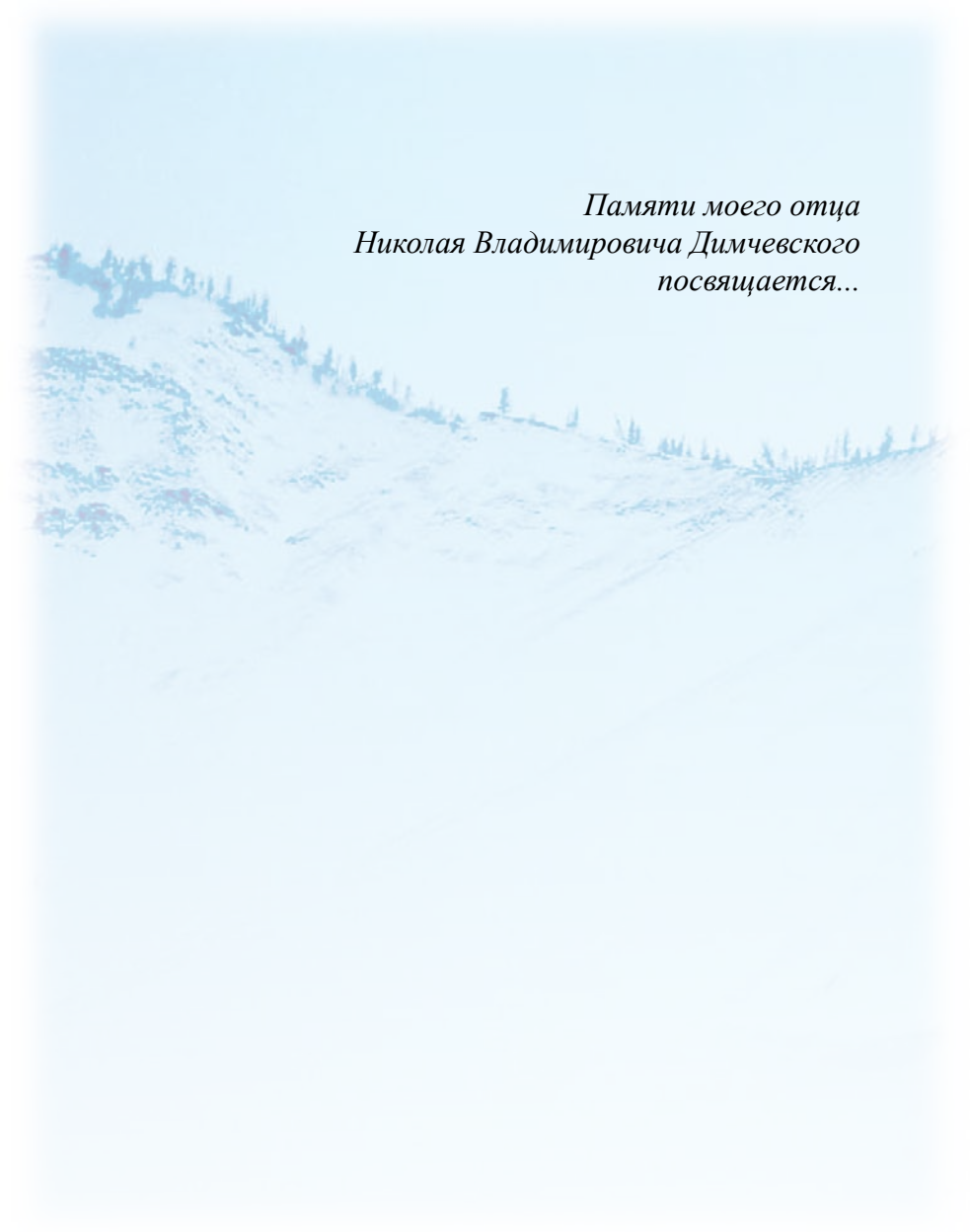




*Памяти моего отца  
Николая Владимировича Димчевского  
посвящается...*

УДК 882  
ББК 84(2Рос-Рус)6  
Д 67

## **Николай Димчевский**

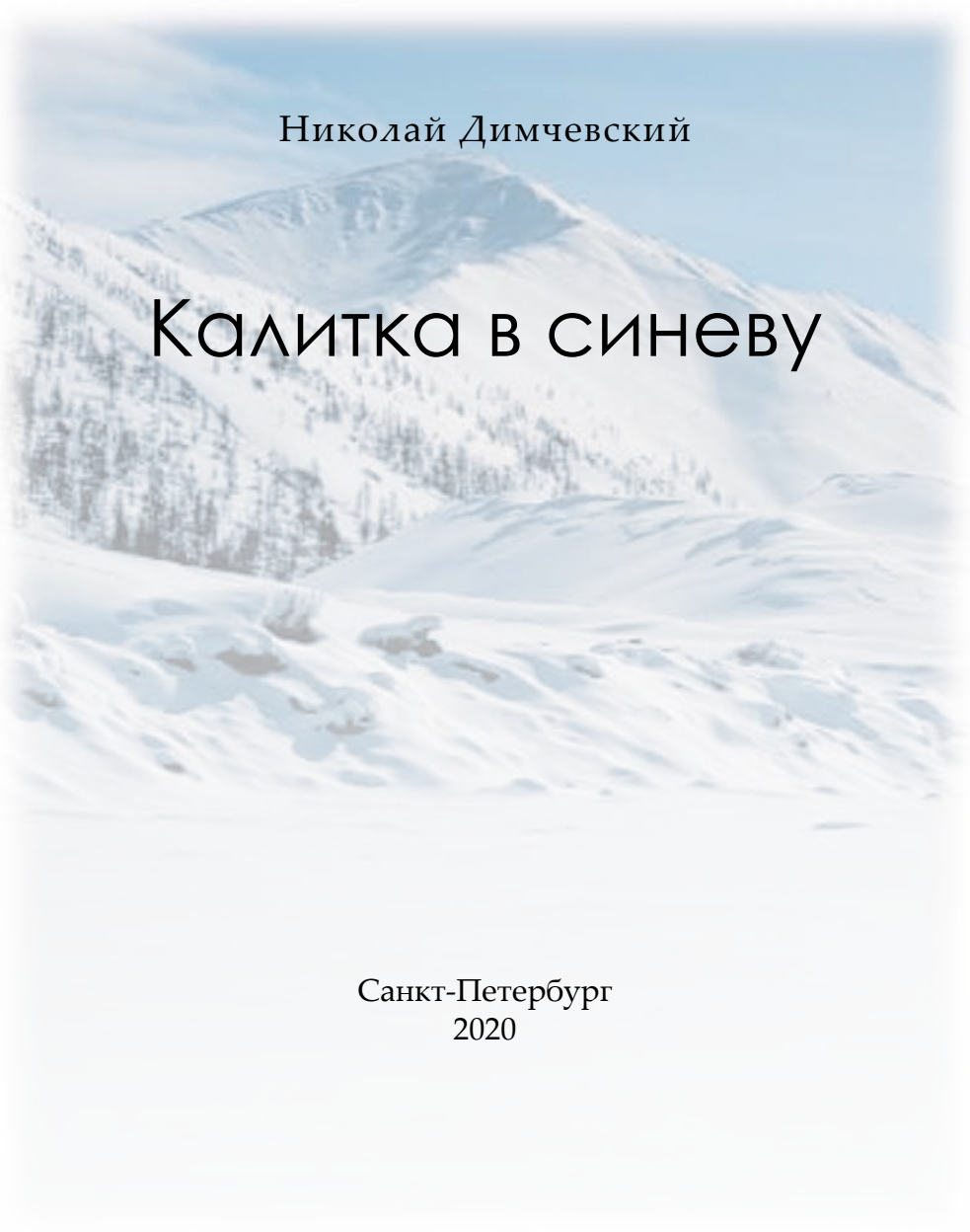
Калитка в синеву. СПб.: Фонд имени Н. В. Димчевского. – 2020. – 136 с.

«Калитка в синеву» (1967) – первая книга прозы Николая Димчевского (1926–2002), русского писателя и поэта второй половины XX века. Эта маленькая повесть – зарисовки писателя о нелегком пути изыскателей, первопроходцев Сибири, которые первыми определяют, где появятся новые города, электростанции, места разработки новых месторождений.

По человеческим качествам и проявлениям герои Димчевского современны, хотя они из другого времени – обычные люди, которые служат избранному делу.

А властелин всего – природа этого сурового края. Как точно, с какой любовью пишет автор: «Ангара снова метнула свои голубые полотнища». «Плавно качаются отроги Саян». «А внизу Енисей отсвечивает бледным малахитом». «О щуках, глядящих ледяными глазами, об осетрах, царственно парящих в прозрачной воде, о суете рыбной мелочи в теплых водах, о медленных улитках на сочных стеблях, расчесанных течением».

Николай Владимирович Димчевский автор книг прозы: «Июль на краю света» (1970), «Летний снег по склонам» (1977), «Вечное чудодейство» (1981), «В пору скошенных трав» (1990), «Фантом столетия» (2010) и нескольких книг стихов.



Николай Димчевский

# Калитка в синеву

Санкт-Петербург  
2020



*Памяти друга,  
Константина Кондрацкого,  
который прошел  
слишком мало...*

Это была буханка хлеба. Я видел ее до последней ноздринки в корке, щупал маслянистые бока, чуял парной запах. Но только отломил край и хотел впиться зубами, хлеб пропал. Ничего у меня не было в руках. Ничего. Пустые ладони – и все. И тогда я проснулся.

Граненый луч прорезал зимовье и ударил в трухлявые бревна. Не хотелось поворачивать голову. Я лишь скосил глаза и увидел квадратное оконце. Там плясали сочные листья и комары. Я закрыл глаза. Ноги были тяжелы. Тяжелей остального тела. Пошевелишь – проломятся нары. Лицо саднит. Комары и в зимовье покоя не дают.

Уснуть бы еще. Но уже затормошилась мысль – пора идти. От нее не отвяжешься. Я совсем собрался вставать. Хочу подняться и все медлю, оттягиваю.

Потом сдвинул дубовые ноги. Поставил на пол, как колоды, одну за другой. Встал согнувшись – зимовье низкое. А хорошо тут. Не ушел бы, если бы еда была.

Солнечный лучик пропал. Зеленый сумрак смотрится в оконце. Пора. Давно пора.

Двинул щелястую дверку и вышел.

Еще вчера вечером, как попал на ручей, решил, что пойду вниз по течению.

Сейчас напился воды, пожевал дикого лука, совсем старого, жилистого. Нарвал с собой. Затянул капюшон энцефалитки\*, закрыл лицо лоскутом, оторванным от рубахи, чтоб не ела мошка. Поплелся. По камням, по осоке, через мочажины.

Чем тут хорошо – вода рядом. Хоть жажда не мучит.

Ноги помаленьку стали привыкать к ходьбе. Совсем разошелся. Да недолго радовался. Начались камни. Ручей нырнул под них и зазвенел в глубине. С двух сторон стали нарастать скалы. Пробираться все трудней. На пути, поперек русла – завалы. Весной или после сильных дождей деревья валит в тайге и несет сюда.

В завалах не знаешь, чем больше приходится работать – ногами или руками, – лезешь почти все время ползком.

Совсем я лишаюсь сил. Соскользнула нога с бревна, ударился коленкой о сук...

И почему-то здесь колыхнулась память. Нежданно и остро я вспомнил Веру. Вспомнил так, будто только расстался с ней и еще можно вернуться, и уже нельзя возвращаться. И поэтому больно. Эта боль пришла при последнем нашем прощанье. Сначала я даже не мог понять, почему она. Несколько раз оставался я у Веры и всегда легко уходил. От встречи до

---

\* Энцефалиткой сокращенно называют таежный костюм из плотной ткани с капюшоном, защищающий от энцефалитного клеща (противоэнцефалитный костюм).

встречи о ней почти не думалось. Вспоминалось все лишь когда из-за скалы показывалась деревенька Подкаменная. И я радовался, что увижу Веру. Мне нравилось быть с ней, но едва я садился в лодку – почти забывал ее.

И последняя наша встреча ничем не отличалась от других. Только когда собрался уходить, мне точно крючок впился в сердце. Я разжал руки, отступил от Веры, и будто невидимая леска протянулась между нами. Хорошо помню, как я подошел к двери и уже открыл ее, но оглянулся и не мог переступить порог. Все смотрел на Веру. И она смотрела на меня. С трудом я вышел, и с каждым шагом леска натягивалась сильнее, а крючок глубже впивался в сердце. Я уже заводил мотор и все еще не мог прийти в себя. Хотелось бросить лодку, побежать назад и остаться в Подкаменной надолго...

Сейчас в этих завалах, среди злобной тайги, Вера вспоминается, как далекий мир, полный доброты и тепла. И все кругом делается еще бесприютней, резче, нелюдимей. Я сижу на свороченных, объединенных водой бревнах и тру коленку. Над головой капризно и резко вскрикивает кедровка. От ее одинокого голоса так одиноко... Я поднялся и полез по камням. Кедровка все кричала, и больше никого нигде.

Как смолот скалы, как сосны сжевал, как вымотал меня ручей...

Я смотрел только под ноги, только на руки, лишь на камни и бревна. А на гребне большого завала поглядел в сторону и увидел Ангару. Другой берег – черно-зеленый с белесыми проплешинами скал. На них лежат облака и шевелят рва-

ной бахромой. День хмурится, и река серая, и густо-зеленая, и совсем пустая. Ни лодочки вдали.

Потом ручей выполз наружу. Камни сразу покрылись скользкой зеленью. Сапоги не держались на них.

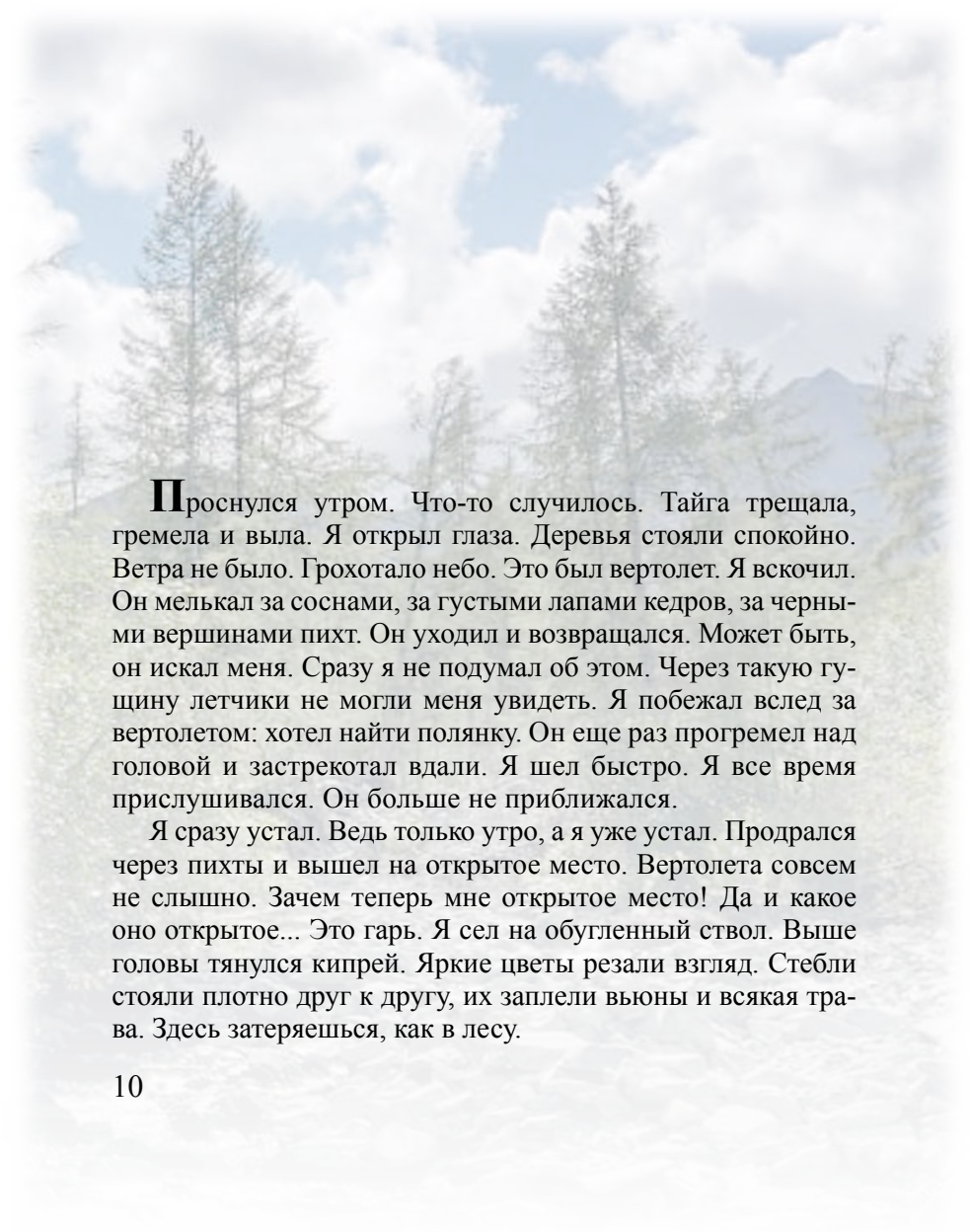
...Вот как. Здесь забродный камень. Скалы с обеих сторон ручья подходили к самой реке. Их каменные полотнища ныряют под воду и растворяются в быстрине. Ручей вытекает словно из ворот. А мне из них не выйти.

Я постоял у скалы. Вода неслась безмолвно и напористо, подглядывая каменную стену. Скала дышала ледяной сыростью.

По берегу тут не пройдешь. Надо снова подниматься вверх, идти в обход... Я снял сапоги, лег на холодный песок. Все сжалось внутри. Песок охлаждал горевшие ноги и грудь. Я уткнул лицо в руки. В глазах плыли камни, завалы – весь мой путь, весь ненужный спуск сюда. Как нелепо и глупо я заблудился. Может, никто и не узнает, как... А узнает – будет смеяться. Да, просто анекдот, только не смешной. Митя с Николаем Нилычем ушли на съемку. Я занялся своим делом. Какое у меня дело? Я вроде подсобного рабочего в отряде – веду лодку, слежу за моторами, заливаю бензин в бачки, помогаю изыскателям, чем могу. Вот и в тот день я разбил палатку, разложил костер, пошел за водой к ручью. И совсем рядом увидел рябчика. Чем не жаркое! Бросил палку. Птица отлетела в сторону и снова села. Еще раз бросил. Опять отлетела. И так увела меня в тайгу, запутала в зарослях – обратной дороги найти не мог: все перемешалось в голове. Вот лежу измученный.

Но я встал и полез по камням назад. У меня не стало ни ног, ни рук, ни тела. Была только мысль, что надо обогнуть скалы и выбраться на берег. Он приведет к жилью.

В тот вечер я не дошел до реки. Когда стало смеркаться, лег в сосняке на хвою, укрылся, как мог, от комаров и полетел в какую-то горящую бездну. В ней были только угли, пылающие стволы и ни одного родничка воды.



Проснулся утром. Что-то случилось. Тайга трещала, гремела и выла. Я открыл глаза. Деревья стояли спокойно. Ветра не было. Грохотало небо. Это был вертолет. Я вскочил. Он мелькал за соснами, за густыми лапами кедров, за черными вершинами пихт. Он уходил и возвращался. Может быть, он искал меня. Сразу я не подумал об этом. Через такую гущину летчики не могли меня увидеть. Я побежал вслед за вертолетом: хотел найти полянку. Он еще раз прогремел над головой и застрекотал вдали. Я шел быстро. Я все время прислушивался. Он больше не приближался.

Я сразу устал. Ведь только утро, а я уже устал. Продрался через пихты и вышел на открытое место. Вертолета совсем не слышно. Зачем теперь мне открытое место! Да и какое оно открытое... Это гарь. Я сел на обугленный ствол. Выше головы тянулся кипрей. Яркие цветы резали взгляд. Стебли стояли плотно друг к другу, их заплели выюны и всякая трава. Здесь затеряешься, как в лесу.

Идти было душно. У самого лица горящие свечи кипрея, из-за них ничего не видно. На каждом шагу обгорелые стволы и сучья. Руки и лицо в крови от мошки.

Кое-где в серое небо воткнулись черные изъеденные огнем стволы. Не верится, что когда-то они были деревьями. Один совсем плоский, с длинной дырой вдоль. Другой с бычьей головой на вершине. Только их я и вижу из зарослей. Они мне вместо вешек. Без них заблудишься, ведь трава у самых глаз – можно кружиться на одном месте и не заметишь этого.

А здесь, пожалуй, летчики меня увидели бы... И вертолет мог бы сесть на гарь. Я прислушался. Только комары звенят, и стучится по капюшону мошка.

На пути – поваленный ствол. Он – как гладкая дорожка между стенами кипрея. Раньше на гарях я всегда бегал по стволам, чтоб скорей идти. А сейчас встал на угольную чешую – и закружилась голова. Не могу. Но дорожка уж очень хороша: не нужно раздвигать липкие стебли, выпутываться из зарослей... Тогда я пополз на коленях, придерживаясь руками за обугленные бока сосны.

Все чаще стали попадаться мертвые деревья и заросли осинника. Гарь кончалась.

В тишине мне померещилось рычание. Прислушался. Рычание доносилось откуда-то снизу, издалека. Это мог быть медведь. Но я не испугался. Мне было все равно.

Я пролез через кусты, через засохшие густые елки, и сразу открылась даль. Я стоял на обрыве. Внизу шумела речка. Я подумал, что это протока Ангары.

Иногда снизу доносилось рычание. Я стал высматривать, нет ли зверя. И тут, под самым обрывом – лодка! Уткнулась в кусты, видно лишь корму. Может, там есть и человек.

Обрыв очень крутой. Я не решился съехать. Пошел по краю, который снижался почти до воды.

Снова рычание. Но теперь я услышал еще и глухой стук. Значит, не медведь. Это вода тащит камни, и они глухо гремят и бормочут, а издали кажется, что рычание.

Я напился, вымыл руки и лицо. Разогнуть ноги было трудно. Я едва встал. Пошел по камням туда, где лодка, вверх по течению. Мне попались пучки – такая сочная трава с белыми зонтиками на концах. Она оказалась старой, но я жевал и жевал сладковатую мякоть, пронизанную жилами.

У лодки никого не было. Ее крепко заклинило в кустах и камнях. Наверно, оторвало где-то выше по течению и забросило сюда. Лодка совсем хорошая. Даже с веслами.

Я толкнул ее. Ни с места. Неужели не хватит сил... Влез. Перешел на корму. Теперь она покачнулась. Нос задвигался между камнями. Я оттолкнулся веслом. Поддалась!

Но весло вырвалось из рук. Течение подхватило лодку. Я попробовал править другим и его не удержал. Тоже унесло.

Я сел на скамейку. Качало и трясло. Вкус медвежьей травы во рту показался противным. Меня стало мутить. Я лег на дно.

За бортом грохотали валы, глухо рычали камни. Я лежал и смотрел, как плывут над головой горы. Они крутились вокруг лодки, заглядывали ко мне через мохнатые брови, гро-

зили поднятыми кверху пальцами черных скал, топотали каменными ногами по воде, стараясь ударить о борт.

Раз они пустили в небо орла, и он долго висел надо мной. А я вспомнил вертолет. Наверное, они нарочно пустили орла, чтоб подразнить меня воспоминанием.

Иногда я засыпал, и казалось, что лежу в постели на высоком пружинном матрасе. Открывал глаза – и снова толпящиеся вокруг горы. К их вершинам присосались облака. Они шевелят огромными губами и жуют черную тайгу.

Лодка пошла плавней. Лишь изредка бил по днищу камень. Я приподнялся. Речка была узкая. Берег летел мимо так быстро, что сразу закружилась голова. Я лег.

Горы начали уходить в стороны. Шум воды смолк. Лишь мелко и звонко шлепала по борту зыбь.

Что-то назойливо затрещало. После грохота речки хотелось тишины, а тут все время что-то трещало. Я с трудом зажал уши и забылся.

Меня потрясли за плечо.

– Жив, парень?

Через борт ко мне свесился человек. Как давно я не видел людей. А это был человек. У него побелевшая брезентовая куртка, круглое лицо и большой рот.

– Экспедиторный ты? Да? – спросил рот.

Я хотел ответить, но почувствовал, что лишь невнятно хриплю.

Он прицепил мою лодку к своей и пустил мотор. Это был бакенщик.

Он вел меня по берегу. Вечерело. Значит, меня вынесло на

Ангару. Вот как. Берег показался знакомым. Да и катер тоже. Это ж наш катер.

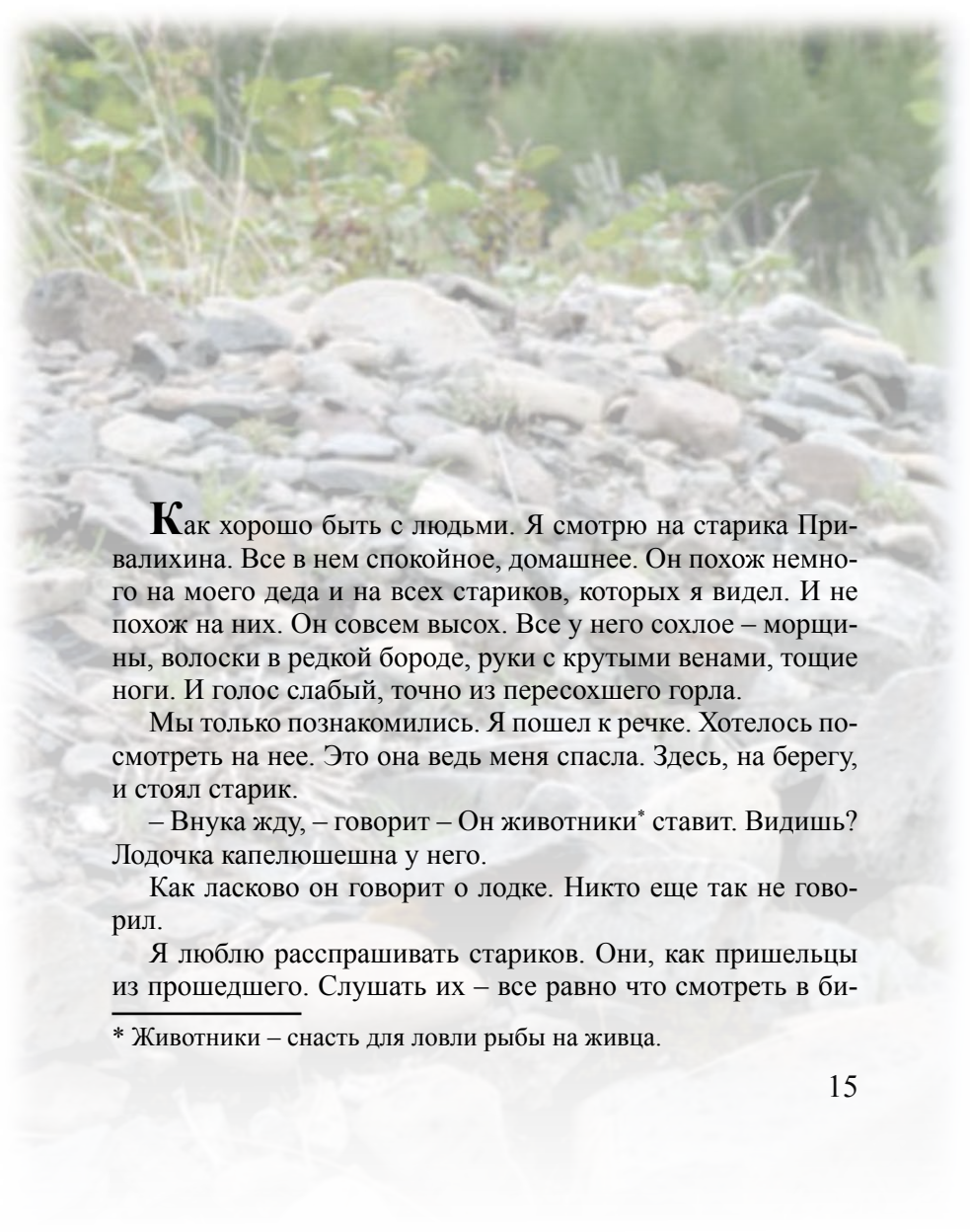
– Это наш катер, – сказал я.

Придерживая за плечо, бакенщик вел меня по дорожке.

Наша изба светилась одним окном. Через марлю ничего не видно. Я поднялся по ступенькам и вошел в сени. Как сладко пахло домом. Как тихо и спокойно здесь. Бакенщик помог мне открыть дверь.

Оказалось, верно – за мной посылали вертолет. Николай Нилыч с Митей летали на нем и показывали летчикам, где искать. А не нашли.

Меня уложили на раскладушку, и я проспал всю ночь и весь день.



**К**ак хорошо быть с людьми. Я смотрю на старика Привалихина. Все в нем спокойное, домашнее. Он похож немного на моего деда и на всех стариков, которых я видел. И не похож на них. Он совсем высох. Все у него сохлое – морщины, волоски в редкой бороде, руки с крутыми венами, тощие ноги. И голос слабый, точно из пересохшего горла.

Мы только познакомились. Я пошел к речке. Хотелось посмотреть на нее. Это она ведь меня спасла. Здесь, на берегу, и стоял старик.

– Внука жду, – говорит – Он животники\* ставит. Видишь? Лодочка капелюшешна у него.

Как ласково он говорит о лодке. Никто еще так не говорил.

Я люблю расспрашивать стариков. Они, как пришельцы из прошедшего. Слушать их – все равно что смотреть в би-

---

\* Животники – снасть для ловли рыбы на живца.

нокль на далекую вершину: кажется, рядом, а не возьмешь. Их память приносит лоскутья всеми забытых картин.

Дед Привалихин начал вытаскивать эти лоскутья сразу.

Был вечер. Небо, как шатер из синих туч. На западе, вниз по реке, тучи обрывались аркой, и за ней сияла совсем прозрачная синева.

Деревенька, и мы, и почти вся река, и тайга – все поместилось в шатре. А у входа таилось солнце. Оно иногда прокаливало плотную крышу. Красный луч протягивался к берегу в устье речки, и тогда плясали краски. На пихтах – фиолетовые, на березах – киноварь, на траве – желтизна, а на реке сплеталось черное, серое, желтое и красное.

Все шевелилось и жило в нашем шатре, хотя не было ветра и стояла тишина. Из-за намокших пихт поднимался пар. Он не отовсюду вставал, лишь из нескольких мест по склону горы. Там он сочился волокнами ввысь, между лапами деревьев, растекался у их вершин, и тогда вырастали облака – белые и розовые на фоне синих туч. Они были, как птицы. Они медленно отрывались от склона и уплывали. И все начиналось сначала.

Старик смотрел на них, а видел что-то другое. Он указывал согнутым пальцем на полянку под пихтами, вылавливал в памяти давнее, древнее. И в струях тумана не разберешь – куст ли стоит, или чум тунгуса курится мокрым дымком. (Старик называл эвенков по-старинному еще – тунгусами.)

В те времена, когда дед старика был молодым, никого, кроме тунгуса, не видели эти пихты. Дед первым срубил тут

зимовье и сдружился с тунгусом. А потом многим понравилось это место на стрелке речки и Ангары. Здесь стала деревня.

Раз утром чум тунгуса пропал. Дед больше никогда не видел своего друга. Весной он вместе с сыновьями раскорчевал на том месте деревья и много лет сеял пшеницу. Там, куда сейчас вновь подбирается тайга...

Небо гремело и бушевало закатным пламенем. Оно облило старика золотом, его истертый накомарник, закинутый на затылок, засветился, лицо стало совсем коричневым, словно сплетенным из высохших корневищ, и дрожащие неровные пальцы теребили бороду. Глаза его были далеко, и голос, тощий и тихий, звучал точно издали. Он волновался, но это волнение подернуто давней пылью, и почувствовать его можно, а услышать нельзя.

Он говорил уже какие-то сказки, доставшиеся его деду от тунгуса. Будто вся жизнь – река. В ее верховьях живут еще не родившиеся люди. Но она течет через горы, и вот здесь, на берегу, где мы стоим, живут и охотятся те, кто появился на свет. А когда они умирают, то переселяются в низовья реки. И так вечно идет жизнь, и вечно течет река, и вечно по ней плывут люди с верховья вниз.

Ангара молча слушала старика. К ее равнине овсяным зерном приросла лодочка. И там, в зерне, был внук, и здесь, на берегу, был дед. И между ними была река. Она разделяла и связывала их.

И еще он рассказал про тунгусскую девушку, которая родила двойню – медвежонка и мальчика. Они подросли, вышли

из чума и стали бороться. И мальчик поборол своего брата. С тех пор всякий раз, когда тунгусы убивают медведя, свежевать зовут человека из другого рода. Чтоб не накликать на себя беду. Нельзя ведь с родственника снимать шкуру. И тот, пришлый, подступает к туше с осторожностью. Разрежет шкуру, начнет снимать, а сам успокаивает медведя: это, мол, не нож режет, а муравьи бегают и щекочат тебя. И тушу они разделявают по-своему. Никогда не перерубят кость, а старательно разберут все по суставам.

И вот, когда съедено мясо, кости по порядку складывают на ивовые прутья, свертывают снопом, связывают, и мальчик борется со связкой, и побеждает, и медведя хоронят.

Я стал расспрашивать старика об этой тунгуске. Но он повторял одно и то же. Он ничего больше не знал о ней. Да и что еще он мог знать? Сказка и есть сказка. Просто мне почудилось тут какое-то дальнее сходство с Верой. А и все сходство-то – двое ребят... А еще, может быть, в том сходство, что старик не знал, кто был мужем молодой тунгуски, а я не знал мужа Веры. Знал только, что зовут его Павел Галкин и работает он с изыскателями-бокситчиками. Вот и все, что Вера сказала мне о нем.

Мы очень мало о чем поговорили с ней. И меня она не пыталась, и я ее не спрашивал. Удивительное это знакомство. Будто бы даже и не знакомство, а встреча давних знакомых. Точно мы познакомились когда-то раньше, а теперь встретились и сразу друг друга узнали. Так потянулась она ко мне, а я к ней.

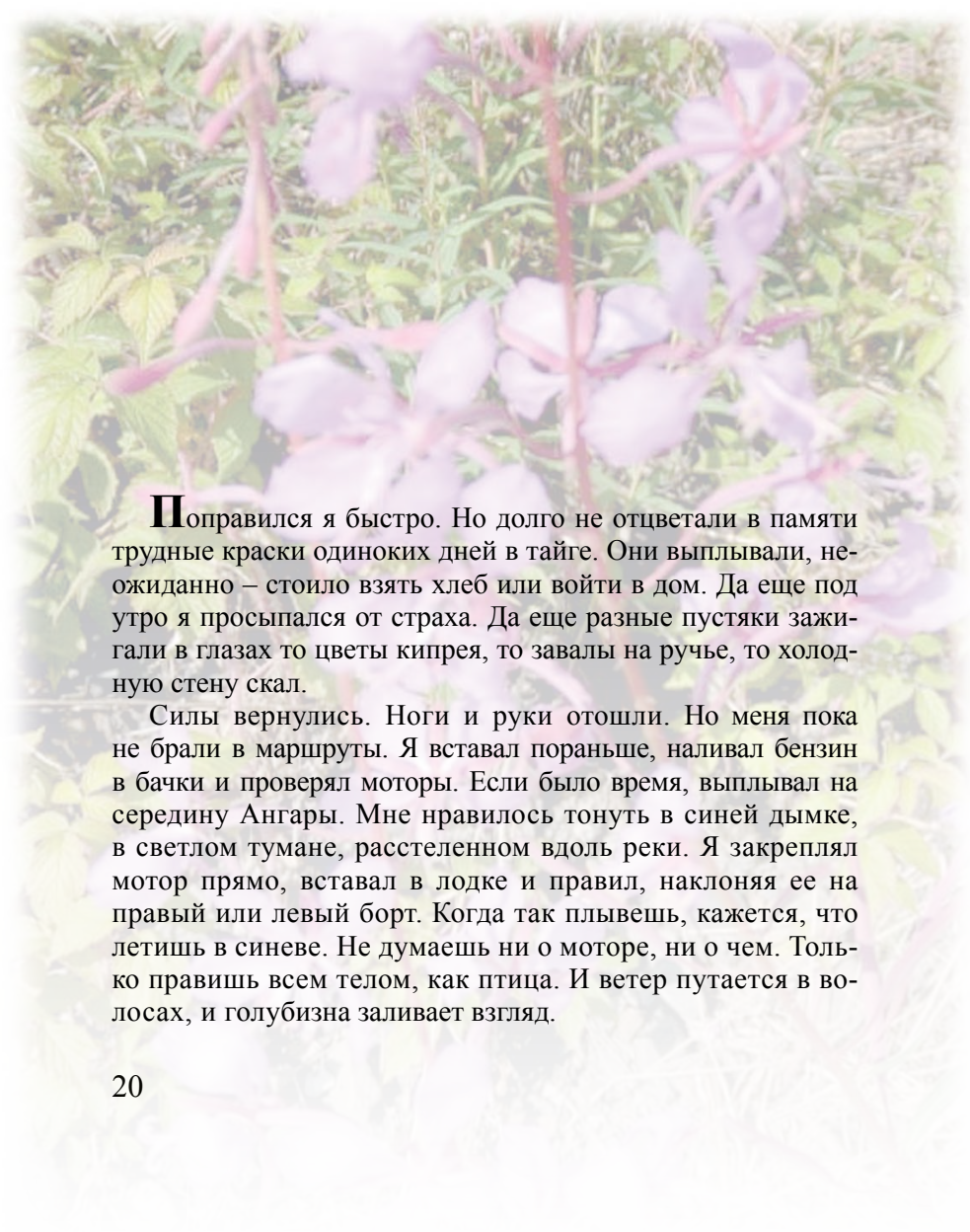
Все было против этого. Она замужем, у меня – ни кола ни

двора, одна энцефалитка, да и та казенная. Не надо бы нам вовсе и видеться. А вот увиделись – и не могли не видеться. Точно две росяные капли на одном листе – слились вместе и не различишь, где одна, где другая.

Здорово рассудить, – ну что я ей?.. Одни неприятности от меня. Знали мы. Учены оба. А пошли на такое безрассудство. Не задумываясь, пошли. Будто только ждали, когда наступит эта встреча.

И теперь, отделенные простором и временем, можем лишь вспоминать друг друга и ждать короткого осеннего свидания. Пройду в конце сезона у Подкаменной – увидимся, и до весны... А за зиму-то мало ли чего случится...

Вот куда завел меня старик со своей сказочной тунгуской, какие двери растворил в прошлое и в будущее. Неожиданно для меня. Да, все в жизни неожиданно. И сама жизнь неожиданна от начала до конца. Непостижимо, сколько может она вместить. И к концу человек сам становится, как жизнь. Он отпечаток ее со всеми изгибами, поворотами, он так же многолик, как она. И вся ее горечь, вся сладость оседает и отжимается в человеке.



**П**оправился я быстро. Но долго не отцветали в памяти трудные краски одиноких дней в тайге. Они выплывали, неожиданно – стоило взять хлеб или войти в дом. Да еще под утро я просыпался от страха. Да еще разные пустяки зажигали в глазах то цветы кипрея, то завалы на ручье, то холодную стену скал.

Силы вернулись. Ноги и руки отошли. Но меня пока не брали в маршруты. Я вставал пораньше, наливал бензин в бачки и проверял моторы. Если было время, выплывал на середину Ангары. Мне нравилось тонуть в синей дымке, в светлом тумане, расстеленном вдоль реки. Я закреплял мотор прямо, вставал в лодке и правил, наклоняя ее на правый или левый борт. Когда так плывешь, кажется, что летишь в синеве. Не думаешь ни о моторе, ни о чем. Только правишь всем телом, как птица. И ветер путается в волосах, и голубизна заливает взгляд.

Так несколько дней.

И настало время уходить с этого насиженного места. Отряд с катером – вниз, а мы втроем – вверх по реке.

Ветрено и ясно вокруг. Шумит шивера\*, и волны шлепают по мокрым камням. Белыми барашками пестрит Ангара. Мы грузим в лодку все, что нужно для работы.

Привалихин стоит на берегу. С ним внук и собака Вихорь. – Не бойтесь, ребята. Главное – наперерез волны идите, поближе к берегу, – говорит старик.

Пусть его поучит. Я не хуже знаю, как нужно вести лодку в шторм.

Мы надеваем плащи. А волны сильно бьют о берег. А лодка сидит низко. А старик говорит: «В добрый час».

Я отталкиваюсь от берега. Бреду по воде. Потом прыгаю на корму. Лодка режет прозрачную волну, и видна ее зеленая подкладка. Капли белым веером вымахивают от бортов и стекают по лицу. Плащи раскоробились и сидят колом.

Радостно уходить в кочевую нашу жизнь и жаль деревеньки, притулившейся в устье речки. Привык за эти дни. И старика с его сказками покидать неохота. Оглянусь, а он все стоит, и внук с ним, и собака Вихорь.

А плыть нам за шиверу, к Аплинскому порогу. Там серые скалы острыми краями режут небо. У подножия громоздятся бревна, стволы и всякий деревянный мусор. Вершины скал точно дымом курятся: роятся стрижи. Птичьи крики сливаются в один пронзительный звук.

Пристали мы перед порогом. Привязали лодку к бревну.

---

\* Шивера – порожистый участок реки.

Рюкзаки на плечи – и наверх. Солнце жаркое. Тайга дышит сосновой смолой и горячим песком.

На скалах поверху тропка. Наверно, бурлаки еще в давние времена пробили ее – илимки\* тянули, пробираясь по вершинам. Внизу-то не пройти – забродный камень.

Добрались до места. Делаем, что надо. А внизу, в самой бездне порога, из-за скалы выплывают две резиновые лодки. Одна черная, другая красная. Катятся по воде. Вот-вот распорют о камни бока. Но никогда они не распорют. Резинка от любого камня отскочит. Перевернется вокруг себя – и дальше. На деревянной лодке опасней идти через порог. Геологи это, кому ж еще. Вот устроились, подлецы! Лежат себе, загорают. На середине их и мошка не берет. Лупят по течению. Один книжку читает, другой пишет что-то, третий с удочкой примостился.

Перевалили они порог, стали грести к берегу. Подальше нашей лодки пристали. Оделись. Тут не больно-то в трусах походишь – зажрут поуты, да мошка.

– Федя, так вас растак! Сколько вам нужно кричать! Мечтаете, а у меня дело горит. Тащите живо пленку!

Это Николай Нилыч меня ругает. Деликатный он человек. Грубого слова никогда не скажет. «Так растак» – и все.

– Там геологи на резинках пристали,— говорю.

– Плевать мне на всех геологов! У меня пленка кончилась!

Работает он до изнеможения. Заберется на скалу, лазит по ней, крутится. Со всех сторон реку обснимет. Митя гово-

---

\* Илимка – большая лодка для перевозки грузов.

рит – его картинки очень ценят в Москве. Они тем нужны, кто для гидростанций чертежи составляет. Конечно, заберись-ка на Аплинский порог. А то взял фотографию, и все видишь. Где камни, где мягкий берег, где быстрина, где заводь.

Мы работаем для Богучанской ГЭС. Станция будет сильней Братской. А где ее поставят, никто не знает пока. Есть несколько створов, и выбирают, какой лучше. Вот и приходится разведывать берега, шиверы и пороги, присматриваться ко всем повадкам реки, ко всем ее причудам и прихотям. Много их у Ангары. И никогда не знаешь, что придет ей на ум. Купаешься вечером в парной воде, видишь каждую песчинку на дне, как улитка ползет по сочной водоросли, как рыбешка играет в темных зарослях. Утром встанешь – вода почти к самым палаткам подобралась, мутная, с пеной, со щепками. Несет сверху сено, навоз, дрова и бревна. Где-то прошли дожди и вздуло реку от лишней воды.

Это все северные реки такие. Подкаменную ли Тунгуску взять, или Нижнюю. Все норовистые и суровые.

В их бесприютности и дичи, в их каменном логовище так радостно встретить человека. Спускаешься со скал иссеченный ветром, избитый осколками, исколотый и искусанный тайгой, пробираешься долиной ручья между корнями и камнями. И вдруг видишь за лапами сосны дымок и палатку. Видишь парня, лениво мешающего ложкой в котелке. Двое других покуривают, посиживая на бревне. И вот ты подходишь – и пахнет похлебкой, сигаретами и деготьком от сапог.

И с бревна поднимается крепкий жилистый парень со светлыми курчавыми волосами, с узким горбоносым лицом.

Брезентовая куртка распахнута на груди, и там красной капелькой сидит комар. Парень протягивает руку и говорит, что его звать Борисом. А второй – Павел. А третий, у костра, – Кеша.

И все. Мы приваливаем рюкзаки к бревну, садимся, вытягиваем ноги и молчим. Просто так. Хорошо здесь, и ребята свои. Видим их первый раз, но они свои ребята.

А потом уж помаленьку пойдет разговор. Я перегоню лодку поближе, мы поставим палатку, достанем свой припас, но ребята запретят нам его трогать. Только разве что хлеб, а остальное уже готово – и уха, и жареная рыба. Додумались же они взять сковороду, и жареная рыба у них.

Надо и нам в другой раз взять сковороду, так думаю я. А Митя с Борисом и Павлом уже толкуют о траппах. Это камень, из которого сложены почти все скалы на Ангаре. Серый он, черный и белесый. Еще его называют базальтом. Эти ребята-то специально занимаются траппами. Так и плывут по течению на резинках, чтобы лучше рассматривать скалы и берега и приставать, где надо.

Рабочий у них Кеша. Чудно даже, как расфранчен! В черном костюме, шелковой рубашке и остроносых ботинках. Сидит у костра, ворочает рыбу на сковороде.

– Чего это вырядился? На базар собрался? – спросил Николай Нилыч.

Парень надвинул кепку на глаза и ничего не сказал. Будто не расслышал.

– Почти что, – ответил за него Борис. – На танцах был. А нам рабочий нужен. В клуб зашли. «Кто с нами? Уходим сразу».

Кешка и вызвался. «Едем. Отпуск у меня. Скушно тут». Так и толкуем. Ветер совсем притих. И солнце на заходе. Под скалами уж сумерки, а на другом берегу красными головешками светится тайга и медными змеями буровится в воде. Кричат стрижи – готовятся ко сну, и работает порог – перемалывает бревна да камни.

И разговор наш о северных этих местах. И слова его тянутся от заполярной Хантайки через Игарку по Енисею до Нижней Тунгуски, через Туруханск до Подкаменной, а через Енисейск до Верхней Тунгуски, до этих вот скал у Аплинского порога, до этого синего вечера с углями закатной тайги.

И так ясно видится мне все, о чем говорим.

Я вижу, как собирают в путь большой резиновый понтон. У таких же скал, перед порогом, ревущим вдаль. Это на Нижней Тунгуске. Ребята притягивают веревками ящики и мешки, старательно вяжут узлы, крепкой сетью оплетают все снаряжение. Они натягивают брезент, проверяют мотор, пристроенный к понтону на кронштейне. Они осматривают берег – не забыто ли что, садятся в понтон и привязывают себя к его пухлым бортам. Потом отталкиваются тупыми баграми от камней, и река хватает их обеими руками, крутит, мнет. Ей дела нет до мотора. Надвигается вой и грохот порога, и валы начинают плясать среди скользких хмурых камней. И небо пропадает в брызгах, в клочьях пены, в тонкой водяной пыли. Кипящая холодная вода бесится, и понтон скрипит, словно детский шарик. Она перемахивает верхом, и люди сидят в ней по пояс. Только веревки спасают от ее мокрых лап, готовых затянуть в пучину...

Так мы говорим до густой темноты, до звезд. Остается лишь костер, такой незаметный днем и мохнатый, большой в ночи. Он вырывает из мрака пластовища скал, куски галечного берега, литую боковину воды и лодки и нас по очереди. Выхватит, поиграет и бросит. И память также берет из прошлого, что ей понравится. К ночи воспоминания мрачней.

Это Николай Нилыч рассказывает. А было-то все весной на Индигирке. И лед уже трухлявился у берегов, полыньи били его черными клиньями, а в рубчатый след вездехода просачивалась вода. В кузове у раскаленной печки сидели пять человек. Геологи – муж и жена, геофизики – тоже муж с женой и Николай Нилыч. Они кончили работу на левом берегу и перебирались на правый. Замерзли на ветру и отогревались в крытом кузове. Он был вместо дома – обшит фанерой и без окон, чтоб теплей.

Вездеход резко завалился назад. Тяжелая бочка с соляром скатилась и придавила дверь, которая открывалась во внутрь. В щели долбанула вода. Горячий пар от залитой печки наполнил кузов, обжигая лица и легкие. Вода быстро прибывала. Люди были по грудь в ледяной жиже, а дышали огненным паром. В темноте они стучали кулаками по плотной гладкой фанере, кричали и задыхались. Потом поняли, что это – конец. Мужья стали прощаться с женами. И все – за несколько минут.

Николай Нилыч, когда воздуха в кузове оставалось только чтоб держать голову над водой, когда трое утонули, а геофизик Бетехтин захлебывался рядом, во тьме нащупал чуть отходивший слой фанеры и, ломая пальцы, отодрал его. Протиснулся в щель и вылез уже из знобящей каши, в которую погрузился вездеход...

Да. К ночи всегда почему-то вспоминается такое. Голос Николая Нилыча прерывается и оседает. Он сжимает губы и закрывает глаза. Желтые и багряные блики от костра бегут по лицу. А сзади кривляются и пляшут скалы, тянут изогнутые сосновые руки, корчат грубые рожи.

Николай Нилыч берет допитый чайник, уходит к реке и, вернувшись, пристраивает его над огнем.

Горят два бревна. Из щели между ними пробиваются жаркие синие волокна. Они оплетают чайник, и вода начинает звонко долбить по стенкам.

Митя ломает плитку из зеленого листа и бросает в кипяток большой кус.

Мы пьем вязущий отвар, и Борис говорит, что совсем недавно на Нижней Тунгуске погиб геолог Корецкий. А как и где и что случилось – неизвестно. Погиб, и все. И передалась весть по реке, и больше ничего не знает никто.

Мы пьем чай. И больше не говорим ни слова. Только порог трубит в свою каменную трубу. Только ворчит костер. Только искры путаются со звездами, и живет рядом невидимая река.

Мне кажется, что я опять лезу по завалам ручья, вижу во сне хлеб и, не найдя меня, уходит вертолет... И ведь никто бы не смог меня выручить тогда. И обо мне так же коротко говорили на реке: «Не вернулся рабочий...»

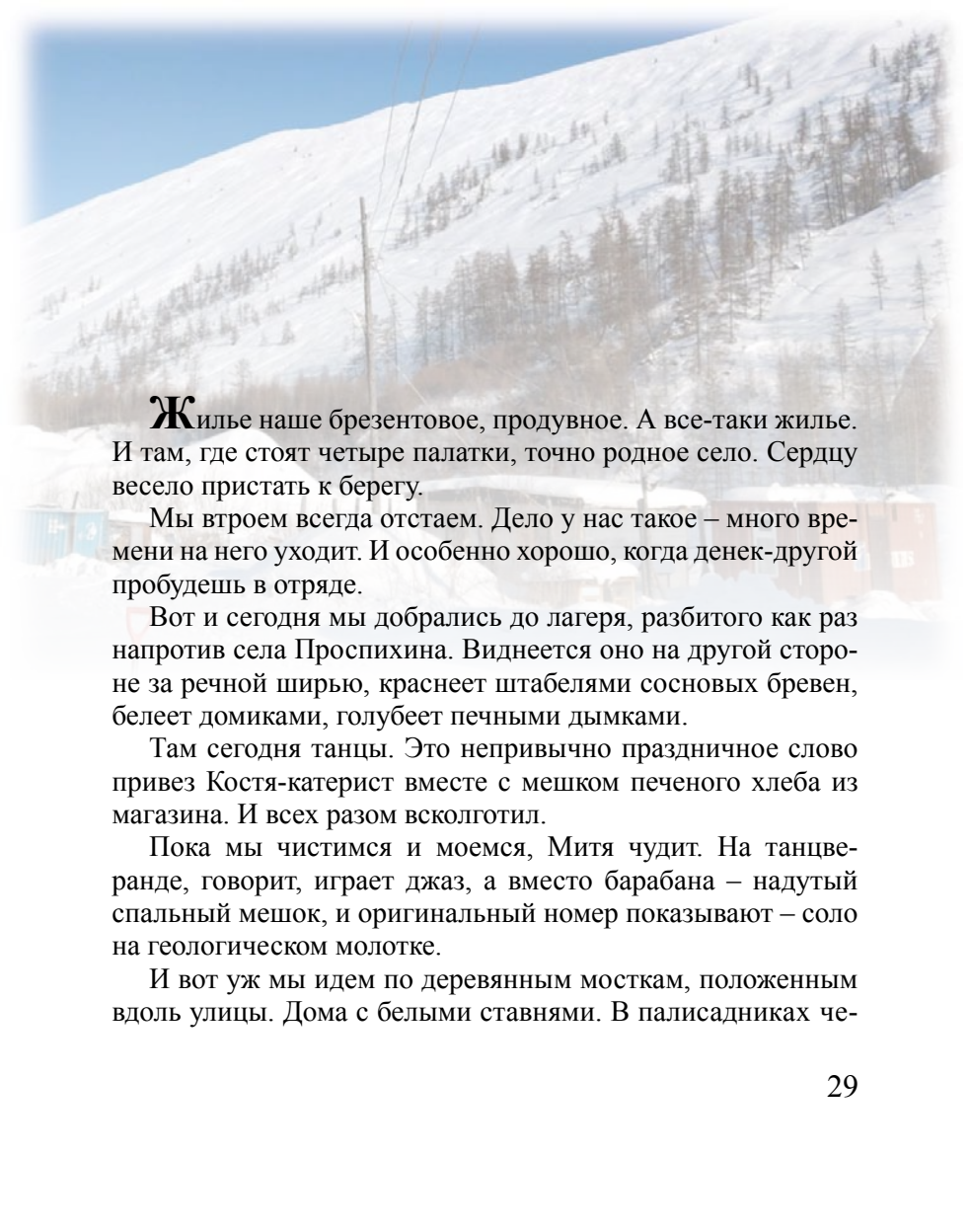
И у всех было в жизни такое, и все подумали об этом, слушая каменную трубу порога. Она грозно рычала. Ее сила неумолима, как медведь, идущий на безоружного.

Так всегда бывает сначала. А потом вырастают поселки,

дороги и плотины. И стихают пороги, и приручается тайга.

Но это потом. А мы в самом начале. Нам не слушать, как загудит вода, пройдя через турбины, как запоеет радиолоа в клубе, поставленном среди нового городка. Все это будет после нас. А мы уйдем дальше. Мы – в начале.

Подыскиваем места, осматриваем, как и что к чему.



**Ж**илье наше брезентовое, продувное. А все-таки жилье. И там, где стоят четыре палатки, точно родное село. Сердцу весело пристать к берегу.

Мы втроем всегда отстаем. Дело у нас такое – много времени на него уходит. И особенно хорошо, когда денек-другой пробудешь в отряде.

Вот и сегодня мы добрались до лагеря, разбитого как раз напротив села Проспихина. Виднеется оно на другой стороне за речной ширию, краснеет штабелями сосновых бревен, белеет домиками, голубеет печными дымками.

Там сегодня танцы. Это непривычно праздничное слово привез Костя-катерист вместе с мешком печеного хлеба из магазина. И всех разом всколготил.

Пока мы чистимся и моемся, Митя чудит. На танцевранде, говорит, играет джаз, а вместо барабана – надутый спальный мешок, и оригинальный номер показывают – соло на геологическом молотке.

И вот уж мы идем по деревянным мосткам, положенным вдоль улицы. Дома с белыми ставнями. В палисадниках че-

ремуха. Старушки сидят у ворот. Клуб – длинный барак беленый. Под крышей на красном кумаче – неровные буквы: «Подсочники\*», план – досрочно!».

Девушки стоят у двери. В светлых платьицах. В туфельках. И запах духов.

– Девушки, а что такое подсочники?

Они что-то объясняют, серьезно и подробно.

И вот ведь как – ни одна мне не нравится. Даже танцевать не стану. Тоска по Вере заглглась, захлестнула меня, и ни о чем уж не могу думать, ничего не могу делать. Тревожно и тяжело мне. А девушки такие веселые, и музыка веселая, и ребята наши веселые. Что ж такое со мной? Со всем недавно я и сам не поверил бы. Просто посмеялся бы и только: мальчишка я, что ль, – влюбиться. И в кого? В замужнюю, да еще с детьми...

А может, в том все и дело, что я давно уж не мальчишка? Давно ушел из юности и уверился, что любовь осталась за спиной, что возврата к этому чувству нет. И стал посмеиваться даже над этим тревожным весенним волнением. Да, стал посмеиваться. И забыл, совсем забыл, казалось – начисто его забыл.

Может, и жизнь тут виной. Изыскательское дело не простое. Забирает всего и не отпускает. Очень ревнивое это дело. Вошел в него – не отвяжешься, не оставишь. Везде оно тебя настигнет, найдет и вернет к себе. Забываешь обо всем другом, увлеченный этим делом.

И вот я словно опомнился. Опомнился, когда в самый раз-

---

\* Подсочники – сборщики сосновой живицы, сока.

гар веселой, широкой нашей работы увидел Веру. И не поверил сначала, не мог и не хотел поверить, как все начавшееся серьезно. Уходил и приходил, и вроде бы просто, легко покидал ее. Но уже тогда, в самом начале, в глубине где-то, в такой глубине, куда не проникает разум, я почувствовал: началось необыкновенное. Не знал еще – что, но знал – началось. И себе не признавался, таил, прятал от себя. Даже, когда другие стали о чем-то догадываться, все равно таил и прятал. А понял – и самому себе признался в тот последний раз, когда уходили из Подкаменной, уходили на три месяца вверх по реке. Времени достаточно, чтоб все забыть. А не забыл. Не забыл. Да, не мог забыть. Что там забыть – даже немного остыть не мог. Ничего не остывало.

И вот сейчас здесь, у клуба с музыкой и девушками, очень мне сделалось тоскливо, очень одиноко. Словно не я радовался только что вместе со всеми этому неожиданно-му вечеру танцев. Эх, махнуть бы в Подкаменную! Бросить все и махнуть. Бросить все!

А нельзя бросить. Нельзя. Ничего нельзя бросить. Как стиснут человек этим железным «нельзя»! Так же нельзя мне поехать сейчас в Подкаменную, как нельзя пешком идти по воде или, взмахнув руками, подняться в воздух. И меркнет все, тускнеет, мрачнеет.

В клубе почти пусто, и радиола играет. Две школьницы танцуют. На сцене несколько шахматистов – и все.

Потолклись мы у дверей. Оробели с непривычки – смотрят на нас. Шахматисты обернулись, школьницы перестали кружиться. Это оттого, что у нас вид больно не празднич-

ный, не субботный. В черных жеваных энцефалитках мы, в порыжевших сапогах и с бородами. Еще в начале сезона договорились, что отпустим бороды. Наперегонки – у кого больше вырастет к осени.

Первым обвыкся Митя – сел играть со здешним парнем. Тот словно из журнала мод вылез: голубая кофта, узкие брюки, ботинки на рубленой подошве. И Митя – борода к самым глазам, лысина, выгоревшая куртка. И ведь не старый вовсе, а лысый. Да. Смешно, какие мы чучела. Ладно, хоть так побыть на людях, да посмотреть, да послушать музыку в настоящем клубе. И электричество светит. И выскобленные полы. И девушки такие нарядные.

Прибавляется народу. Радиолу сменил баянист. Где же он играет? Не видно за танцующими. Спрятался, как птица в листве. Разыщу-ка его. Все равно мне сегодня не веселиться. Пойду через весь этот праздник, свет и духи. Пойду по краю, мимо скамеек, униженных улыбками, серыми глазами и смехом. Посижу рядом с ним.

Люблю баянистов. Что-то есть в них удивительное. Что-то есть в них трогательное. Даже веселое звучит у них с какой-то грустью. Даже неумелые, они влекут к себе. С детства люблю баянистов. Самые обычные они на вид люди, а дотронутся до ладов – и улетают в свой особенный мир, на который ты можешь лишь любоваться издалека. Заглянешь в него – и отдалишься от своих тревог, согласишься на тревоги будто со стороны – и становится легче иногда.

Поэтому я иду к баянисту, ищу его в праздничной кутерьме, высматриваю: откуда же он заливается?

А вот он... Притулился незаметно на ступеньках сцены. Слепой. Черная косоворотка подпоясана ремешком, потные волосы с проседью причесаны пятерней. Морщинистый лоб. Неровная щетина на щеках. Черные очки в жестяной оправе. Рот со сломанными зубами будто смеется невпопад.

Несчастный какой-то человек. Но по лицу никогда ведь правильно не узнаешь. Поговорить надо, если он разговорчивый. И если неразговорчивый, все равно больше узнаешь, чем по виду. Надо присесть рядом на ступеньку и дотронуться до руки, когда он кончит играть.

И я сажусь рядом. И он кончает свой вальс. Он сразу узнал, что я нездешний, но не стал спрашивать, кто и откуда. Достал серую тряпицу, вытер лоб и отдышал молча, забывшись. Я думал – он не вспомнит обо мне, такое у него отрешенное лицо. Но он встрепенулся, нашел мою руку и начал рассказывать совсем неожиданное.

Сразу я никак не мог взять в толк. О чем – ведь тут разговоры всегда-то о лесосплаве, о буровиках, о зарплате, о геологах и топографах. Обычные наши разговоры. А он заговорил о панино, которые должны привезти в Проспихино. Одно для клуба, другое для детского сада. О музыке заговорил, о музыкантах, о Бахе, о «Лунной сонате»... В такие выси не забирался еще ни один из знакомых мне баянистов.

Его длинные пальцы перебирали меха, словно бегали по клавишам, и он уже не казался жалким, он отделился от замусленной черной косоворотки, от черных очков, отделился от самого себя и оставался самим собой.

Как-то вдруг перескочил он от «Лунной сонаты» к хо-

лодной клетушке где-то в Москве, у Курского вокзала, в переулке, перескочил лет на тридцать назад. Там он жил у тетки, беспомощный, обреченный на страшную темноту. Было мучительно все – от боли в еще не заживших глазах до необходимости ощупью находить утром одежду, ощупью пробираться по длинному коридору к умывальнику...

Но мучительней всего было то последнее, что он видел в своей жизни. Спокойные, деловые лица людей, только что убивших отца. Отец лежал на полу, головой под кровать. Его, Ваньку Семенова, пятнадцатилетнего мальчишку, держали за руки, заломленные к спине. Он видел все. И поэтому кто-то поднес к его глазам узкий нож...

А вся-то вина отца была в том, что он первым вступил в артель. И вышли из леса остатки какой-то недобитой банды.

В один из жутких, тягучих дней после переезда к тетке в Москву он столкнулся в коридоре со студентом Корецким...

Я сразу вспомнил Аплинский порог и весть о гибели геолога с такой же фамилией. Но я ничего не сказал музыканту.

Нервно, перескакивая и путаясь в воспоминаниях, он рассказывал о том, как студент незаметно отвлек его от страшных мыслей, от темной пучины. Оказалось, есть иная жизнь, о которой деревенский паренек даже не подозревал. Краешком она приоткрывалась ему через наушники детекторного приемника, через незнакомые шумы улиц, по которым они гуляли вечерами, а позже – через звуковое кино. И уже в первый год жизни в этом городе его потянуло к музыке. Удивительно, что первым об этой тяге догадался Ко-

рецкий, а не он сам. Догадался и ничего не говорил сначала. Только чаще стал водить в концерты и на галерку в Большой. У Корецкого всегда были контрамарки – он подрабатывал на жизнь статистом в театрах. Потом он добился, чтобы Ваню приняли в музыкальную школу. Так Семенов стал музыкантом.

Он не переставая перебирал пальцами мехи. Он совсем забыл про клуб, про танцы, про меня... И тогда к нему подошел тот парень в голубой кофте, осторожно взял баян, сел поодаль и начал быстрый, веселый и четкий фокстрот. Даже мурашки пошли по спине. Ловко и задиристо пели голоса, перескакивали сверху вниз, сплетались и расходились. Клуб завертелся каруселью и расцветился этой искристой мелодией.

Семенов жжал мою руку:

– Это мой ученик. Пришел неграмотным. А теперь и по нотам, и на слух. Очень талантлив. Баха исполняет – звучит, как орган. Только бы руки уберег. Работает на вязке плотов. Дело не музыкальное.

Здесь много способных. Надо учить, учить! Как это все неорганизовано у нас, кустарно, плохо!.. В соседнем селе, неподалеку, километров пятьдесят, купили для клуба духовой оркестр. Прекрасные инструменты. Истратили тьму денег. А руководить стал какой-то самоучка. И все распалось. Инструменты испортили. Все пропало... Не могу – больно, тяжело, обидно...

Он едва не заплакал, перечисляя всякие валторны и тромбоны, сокрушенно хлопал себя по коленке и ерзал на сту-

пеньке, точно она жгла его. А парень в голубой кофте крутил и вертел весь клуб. Он играл играючи, легко, шутя. Ему нравилось набавлять ритм, чтоб танцующие задохнулись от скорости. Он испытывал, кто крепче, и радовался своей силе.

Я ни о чем не расспрашивал Семенова. Глухо и тихо он говорил о себе, продираясь сквозь пласты трудных воспоминаний. Жизнь-то мало у кого легка, но на его дорогу упало столько камней, что не понять, как он мог ее одолеть.

Стал преподавателем музыки. Играл в оркестре. Женился. Медленней, чем краски дня, забывалось юношеское потрясение, но все же забывалось, верней, сглаживалось – привыкнуть к боли нельзя. И едва лишь начало то, давнее горе тускнеть, ударило новое.

Тогда он знал, за что убили отца и ослепили его. Все перевертывалось в деревне. Бандиты мстили отцу за его мечту о хорошей жизни. Теперь случилось совсем непонятное, похожее на ошибку... Он очутился в далеких этих местах. Неизвестно – почему, оторванный от единственного дела, которое было ему под силу и по душе.

В землянке он каждый день пристраивал на нары струганую доску с вырезанными клавишами и «играл» упражнения. Немой рояль слепого музыканта.

Пришло время, когда ошибку исправили. Он получил комнату в теплом сухом доме. И тогда умерла жена, которая пробыла с ним все самое трудное время.

Семенов мог бы уехать, но он остался здесь. Остался по своей воле. Раньше ни за что не поверил бы, что останется

ся, а остался. Остался, и все. И теперь ждет, когда прибудет самоходка и выгрузят пианино. И договаривается со сплавщиками, отбирает самых крепких ребят, чтоб вынесли инструменты осторожно, не ушибли, не повредили, не поцарапали. Семенов говорит об этом, словно уже дает советы грузчикам, будто ощупью идет по настилу, пробуя, крепки ли доски.

Он, волнуясь, ждет, когда сможет открыть крышку и дотронуться до клавиш. До звучащих клавиш. Узнает ли их? Не заслонило ли их безголосое «пианино», которое Семенов перенес из землянки в новый дом?

Он говорит о мастерстве музыканта, об искусности педагога, об одаренности ребятишек из детского сада, о талантах сплавщиков и рабочих лесоучастка. Он говорит, что все потери и тяготы жизни, весь ее ужас и капли сладости ее – все оседает в мастерстве. Единственное, что есть у человека, – это мастерство, нужное людям. Все проходит, остается лишь мастерство. Через него человек проникает в жизнь других, с ним переживает себя.

Кому, кроме тебя, известны твои печали и радости? Они останутся с тобой. Они – сам ты. А мастерство... Мастерство – достояние всех. Оно останется жить после смерти учителя в детишках, в сплавщиках, в подсочниках, оно пойдет, как круги по воде. И со всяким мастерством так. Оно остается у людей. Этот дом, этот баян, эти сапоги – все мастерство. И не простое. Люди, которые дарят нам его плоды, прошли не меньше, чем мы. Кто знает, может, лучше всех строит дома тот, кто долго мытарился под открытым небом,

и самые крепкие сапоги получаются у сапожника, который сам оставался без сапог...

У тебя погибают родные и друзья, ты оказываешься на грани, за которой – пустота, отчаяние. Но у тебя есть крупица мастерства, и она спасет тебя. Только и спасет человека пристрастие к своему делу. И все его отношения с другими людьми освещаются его мастерством. И само оно крепнет и цветет, впитывая соки твоей жизни и жизни людей, которые дороги тебе...

Семенов очень разволновался и утомился от этого разговора. Он вытирал лоб тряпицей, пальцы его дрожали.

Были минуты, когда я хотел передать ему весть о гибели Корецкого, узнать, не тот ли это человек, который когда-то помог ему. Но теперь раздумал. Успеет еще узнать. Успеет принять последний удар.

И вот мы уходим. Я прощаюсь с Семеновым. Он задержал мою руку в своей и сказал неожиданно:

– Корецкий погиб недавно на Нижней Тунгуске...

Сказали нам лететь в тайгу. Туда, к Подкаменной Тунгуске, – узнать у бокситчиков самые низкие точки залегания руд. Чтобы потом, когда разольется водохранилище, не затопило бы разработки.

Перерыв в нашей речной, плавучей жизни. А теперь я особенно привязан к Ангаре. Даже ненадолго трудно от нее оторваться.

Что поделаешь. Спи, наша лодка на мокром песке, стой потихоньку, мотор, в шалаше у сторожа нефтебазы, ждите возвращения...

Аэродром на лугу возле реки. По нему разбрелись разморенные полднем телята. Дремотно кружатся облака. Высоко запрокинуто небо. Мы ждем самолета. Долго, лениво и равнодушно. Сушим портянки. Дремлем. Говорим о всяких пустяках. Над головами толчется столбик мошки, липнет к лицу, мельтешит на рубахе.

После обеда не спеша пришли из деревни рабочие и начали скатывать в одно место бочки с бензином и соляркой, чтоб легче грузить в самолет.

Кончили. Один сдвинул на затылок накомарник и присмотрелся:

– Летит.

Низко над тайгой зачернелась машина – не больше комара.

– Сгоняй телят! – крикнул рабочий пастуху.

– Ладно, – ответил тот и не двинулся с места.

Двукрылая «аннушка» выскочила из-за песчаной сопки и развернулась, отпугнув телят в сторону. Рабочие по мосткам стали закатывать ей в брюхо бочки. Летчик вылез из кабины поразмяться, прикинул нас троих на вес и сказал, чтоб грузили одной бочкой меньше.

Потом «аннушка» прыгнула с крутого берега, и закачало ее, как на качелях. То поползет за окном синий плат Ангары с дрожащей змейкой солнца, то небо заливают оконце яркой голубизной.

Река уплывает назад. Ничего не остается от сопки, скал и круч. Ровно, как подстриженная трава, протянулась во все стороны тайга. Она чуть поворачивается и плавно покачивается. Вывернется иногда петля речки, сжатая каменистыми берегами, покажет песчаное дно и белую пену перекастов и растворится в голубовато-зеленой глубине. Нет ни дымка от костра, ни шалаша, ни зимовья. Лес и лес. Ровный, густой и бесконечный. Ангару теперь лишь угадываешь по синеватой гряде на горизонте. А дальше засвети-

лись желто-зеленые проемы болот. Страшно подумать, если здесь придется работать. Из самолета все кажется ненастоящим – появляется, исчезает, проходит. Только пешком пробираться, узнаешь, что это за места. Мелькнувшее внизу болото, может, и за день не осилишь. По колено да по пояс в черной жиже, в комарином кишобище, исходя потом, будешь пролезать осокой да кустами. А спать в чехле от спальника, спасаясь от комарья, а пить – ржавчину, а клясть – свою несчастную судьбу.

Но пока-то мы в самолете. Поглядываем в окошки, посиживаем на скамейках. Пусть внизу хоть черт с рогами.

И вот набекрень перекосилась тайга, подплыла к окну, блеснула озером, проредилась, и зажелтели в ней домики поселка – точно пчелиных сот накрошили. Аэродром черным ковриком расстелен у речки. Он летит навстречу, бросается под колеса и мягко пружинит, принимая нашу «аннушку».

Поселочек этот – база бокситчиков. Так ловко приклеился к речке и озеру, пророс чистенькими домами, обзавелся лесопилкой, электростанцией и почтой. А на краю, возле аэродрома, несколько палаток и изба. Только глянешь на нее – увидишь, как свалили топорами сосны, сложили сруб, и родилось тут первое с сотворения мира жилье. Бревна, грубо обкусанные у концов топором, неровно торчат по углам. Тогда было не до красоты. Но с этой избы начался поселок, а может, и город. Кто знает.

Нам теперь ждать вертолет. Еще дальше надо, еще глубже в тайгу. Что ж, посидим. Умение ждать здесь нужно так же, как сноровка к ходьбе. Особенно если заволочет даль

туманом или забьет дождем. Тогда замирает воздух, намокают перья алюминиевых птиц. Сиди и смотри, как медленно стекают длинные капли, тягуче тянется время, ни шатко ни валко проходит день. Сиди, мучайся от безделья.

Но в этот раз нам везет. День светлый, чуть подсиненный дымкой. Скоро его лазурную парусину распорол грохот вертолета. Не могу теперь спокойно слышать этот шум. От мелькания машины за березами кружится голова и пересыхает во рту. Точно такой же был там, над тайгой, когда я заблудился. Может, он и есть...

Однако рассусоливать некогда. Уже отвалилась на сторону дверца, раздвинулось надвое зеленое брюхо, начали выгружать ящики, пошли пассажиры. Последней слезла старуха в старинной шелковой кофте с острыми плечами и узкими рукавами. Несет туесок и берестяную кошелку. Видно, очень довольна покупками и тем, что по небу добралась с базара.

Быстро, быстро все делается на аэродроме. Старушка еще до первой избы не дошла, а мы уж в вертолете. Все погружено, закрыто, захлопнуто и защелкнуто. По земле нехотя проползла тень от винта, потом замелькала и пропала. Мотор тужится и ревет. Еще чуть – и все разнесет в клочья, а летчик прибавляет газу. Лишь когда машина затряслась и задержалась и у нас застучали зубы, мы почувствовали, что оторвались от земли.

Дальше на Север наш путь. Там крайний участок поисково-разведочной партии. Туда поворачивается таежная чаша. Сочными пятнами зеленеет внизу лиственница, старые гари пылают рыже-оранжевым, графитные озера в

яркой кайме травы. Все это перемешивается и струится до тех пор, пока не показалась посадочная площадка – квадрат, выложенный из нешкурёных стволов березы, а рядом – несколько фигурок с задранными вверх лицами.

Последнее поселенье. Дальше, наверно, иди хоть до Ледовитого океана – поселка не встретишь. Мудрено ли, что приветили нас по-родственному. Рюкзаки нести не дали. Чуть дверь открылась – их мигом сдуло. Налегке идем по тропке сквозь тощий соснячок. Идем до вырубki, где встали четыре избы. Чердаки просвечивают насквозь – крыши из щепы наскоро, шалашом поставлены на срубы.

На улочке осенними кочерыжками торчат длинные пеньки. Сколько же труда взяла эта полянка! Чего стоила эта колдобистая вырубка, эти хижины, эта печка перед домом, протянувшая дымок в бледное поднебесье!

Наши вещички забросили в избу на отлете. В ней живут холостяки и начальник участка. Нам тоже в ней ночевать. Хорошая, крепкая изба. Не заходя, поймешь, что за люди тут устроились. У дверного косяка увидишь лыжи, крытые оленьим мехом, рядом сохнет медвежья шкура, изнанкой наружу прибитая к стене, а под самой крышей на деревянных гвоздях лежат удочки и висят капканы.

Есть во всем этом неизбывный уют и тишина. Есть тепло и приветливость обжитого места, где греет даже кружка холодной воды. Приоткрытая дверь доверчиво смотрит на тебя, и кот, привезенный за тридевять земель, трется о ногу. Таежные поселки щедры к бездомным и всегда награждают их четырьмя стенами, крышей, березовым дымком, ужином и беседой.

И откуда здесь такой уют? Изба как изба. Совсем еще зеленый мох в пазах. Пол – из бревен, выровненных топором. Потолок дощатый, но доски не пиленые, а колотые. Они получаются, если бревно разбить клиньями на длинные лучины. Так быстрее и легче, чем пилить.

Осматриваешься и сразу приживаешься к этому грубоватому, разбросанному уюту. Он в самом холостяцком беспорядке, в небрежности и бережности, с которыми относятся к нужным вещам. Вот высокие топчаны, похожие на столы. Голенастые и неуклюжие, на них и забраться-то трудно. Зато осенью и зимой, когда по полу ползет холод, они возносят обитателей избы в самый теплый слой воздуха. Спальные мешки на топчанах, растерзанные и смятые, таят великую преданность хозяевам. А как бережно деревянные гвозди, вбитые над каждым топчаном, держат за ремни ружья, как плотно выструганная топором полка сжала книги, как на месте встали два стола у двух окон!

В середине избы на земляной подставке, оправленной в аккуратный срубок, стоит печь из железной бочки. Она тиха и скромна, но стоит похолодать – властно притянет к себе людей, ударит в лицо каленым жаром, засветится в ночи. А пока она возвышается символом зимнего уюта, железным обещанием тепла. И от одного этого обещания чувствуешь себя надежней в неприютной здешней стороне, где даже летом дышит под ногами вечная мерзлота.

Вот и все. Ты дома. Живи, сколь надо. Хоть до осени. Хоть до весны. Вот за печью по стене нары. Вот твое место. Развертывай спальник и живи.

Почти со всеми мы уже перезнакомились. Не знаем только начальника участка Илью Иваныча Сахарова. Он еще не вернулся с шурфов.

А когда придет – одно удивление будет. Каких только людей не приходилось встречать в тайге, на реках, на стройках, да на приисках, но этот редкостный, необычный, непривычный, неописуемый какой-то человек.

Хоть лицо у него, хоть одежда, хоть разговоры. По щекам и под зеркально выбритым подбородком тлеет борода. Цветом, совсем как свежая ржавь на железе. Такая густая и плотная, что даже волосков незаметно, точно он кумачовый валик привязал. Сначала, кроме этой бороды, ничего и не видишь. Она живет сама по себе. И если Сахаров промелькнет мимо, ты можешь вовсе его не упомянуть, а бороду упомянешь. Встречал я рыжебородых, и все они выгорели в памяти. Тут же навек застряла эта борода.

Лишь когда маленько попривыкнешь к ней, обрисуетя большой рот с крупными губами, серые, словно кострового дыма надышавшиеся глаза и спутанные, такие же, как борода, насквозь проржавленные брови.

И только потом рассмотришь его посеревший полотняный накомарник с сеткой, продырявленной сигаретой, увидишь как по-разбойничьи лихо закинут он на затылок и висит по плечам. Заметишь винтовку через грудь, ичиги на ногах, почувешь идущий от них дегтярный дух. И сочный, чуть с хрипотцой голос уже не будет для тебя неожиданностью. И черная лайка Варнак со сломанным клыком сверкнет на тебя красным глазом.

Сахаров так поздоровается, так задержит в ладони руку, так посмотрит, так обволочет своим добрым теплом, что подумаешь: где-то его уже видел, хоть он и совсем не виденный тобой человек.

Он вешает винтовку на стену к угловому топчану, где под потолком серебрится трубочка переносного радиометра. Он выдергивает из петли у пояса трех рябчиков и бросает к порогу. Он срывает накомарник и роняет на скамейку. Потом смотрит на часы, разводит руками и извиняется, что пока некогда с нами поговорить — начинается сеанс связи с базой.

Он садится к рации, стоящей на столе, отодвигает бумаги, окурки, рыбы кости и отрешается от всего. Все радисты делаются такими, едва натянут наушники и возьмутся за ключ. Но с Сахаровым и это случается по-своему. Очень уж он легко работает. Словно и не работает вовсе, а летает в эфире. Выйди на улицу, посмотри на антенну, прихваченную за две березовые слепи, и увидишь, как он парит в вышине, раскинув руки.

Да, легкий он какой-то и удивленный человек. Солнце садится. Красный луч просек избу, выхватил кусок стены, резко прочертил все волоконца в бревнах, вырезал каждое перышко мха, каждый листок брусники, застрявший в нем, сверкнул на затворе винтовки и поджег бороду Сахарова. Она прилипла к его лицу плотным языком пламени, раскаленной подковой. А он не чувствует боли. Спокойно тянутся записи по тетрадке, плавно отбивает ключом ритм легкая рука, синей травинкой растет дымок от забытой сигареты.

Кончается связь, он снимает наушники и возвращается

к нам, возвращается весь, до последнего волоска в бороде. Как он был отрешен во время работы, так сейчас наполнен только нами, и ничем больше. Пошевелишь пальцем – увидит твое движение.

Сахаров занимается с Митей. Расстелив на топчане карты, Илья Иваныч говорит, где какие отметки залегающие и как примерно изгибается рудное тело. Но он никогда не забывает и тут же Николаю Нилычу показывает, на какие шурфы мы пойдем и где лучше всего фотографировать разрез пород. И обо мне не забывает. Это совсем, говорит, недалеко, и брать с собой ничего не надо, и нести будет легко.

Когда кончили рассматривать карты, пошли посидеть перед ужином на бревнах возле печки, дымящей среди улицы. Там собрались почти все жители поселочка – забойщики, воротовщицы и геологи. Собаки лежат у их ног. Спокойная серая кобыла купает в дыму голову. Больше от привычки, чем по необходимости, – мошки почти нет. Вечер спокойный. В тишине только шелкают дрова да вздыхает лошадь. Кто курит, кто дремлет. Многие только вернулись с шурфов; вылезли из замороженных колодцев, вымылись, переоделись и греются в закатном луче. Коль комар не понимает, можно сидеть в одной шелковой рубашке. Была бы у меня шелковая рубашка – тоже надел бы. Это очень хорошо после брезентовой робы или душной энцефалитки надеть прохладную, скользкую рубашку и чистые легкие брюки, и сандалии вместо сапог. И сесть на бревно рядом с товарищами. И пожмуриться на солнышко, ожидая ужин.

Нам тоже сейчас неплохо, хоть и не в чего переодеться. Сидим, сняв сапоги и энцефалитки, смотрим, как полногрудая, круглая девушка жарит яичницу и свинину, как за запахнутой дверью в доме накрывают стол.

И все тихо кругом. Тощие сосенки не шелохнутся. Розовое облачко остановилось посреди неба, зацепилось за антенну.

Покой и отдохновение сидеть за столом, уставленным тарелками с ломтями хлеба, черникой, порошковой яичницей и свежей свининой, касаться плечом соседа, который незаметно старается пододвинуть тебе лучшие куски. Это теплое доброхотство почти ощутимо растекается по телу и сладко пьянит.

А разговоров почти нет. Только Сахаров с Митей толкуют о залеганиях руд. Огня не зажигают. Свет идет от двери, за которой стоит скудная северная тайга с тлеющими верхушками сосен. Иногда лошадь просунет морду и влезет до половины в избу, чтоб получить кусок хлеба с черникой; порой ворвется собака и шаркнет под стол между ногами – вот и все, что нарушает покой ужина.

Потом снова мы сидим на бревнах и смотрим, как проясняются звезды, как выползает из низины туман. Сахаров исчез, и теперь с Митей говорит другой геолог. А мой сосед, забойщик Бодров, рассказывает про коптильню, которую он недавно сделал на берегу речки. Нетрудное это, оказывается, дело – копчение-то. Из большого куска коры выгибают этакую кабинку. В верхнюю половинку, закрытую сверху и с боков, вешают рыб или медвежатину. Вни-

зу разводят костер и дым скапливается наверху. Для запаха прибавляют кто что хочет – можжевель или осину, или еще чего.

К себе мы приходим поздно. Сахаров уже лежит на топчане. У изголовья в стену всажен узкий нож. К рукоятке прилеплена свеча. Он читает.

Илья Иванович отложил книгу, уперся руками в стену и потянулся:

– Очень люблю так вот: свеча, спальный мешок и книга. Прекрасно. На полке еще есть свечки – берите, и книжки найдутся. Если не очень устали. У меня? Записки Аввакума. Перечитываю иногда по настроению. Путешествую по Ангаре семнадцатого века.

Это одно удивление – узнавать места, которые кто-то видел за триста лет до твоего рождения! Тут даже не история, а необыкновенный житейский разговор. Представьте: Аввакум рассказывает мне, что он видел три века назад.

Илья Иванович поправил зачавдивший фитиль и сел, прислонившись к стене:

– Или вот Миллер. Тот уже из восемнадцатого века. Есть на Ангаре скала Писанный камень. Откуда такое название? – спрашиваю стариков. Да там, отвечают, какой-то путешественник свое имя написал. Я им поверил. А потом был как-то в отпуске. Читаю в Ленинской библиотеке Миллера, и вдруг старик говорит, помню наизусть... «На правом берегу этой-то Тунгуски расположена скала в тринадцати верстах ниже устья реки Чадобца и семнадцать верст выше устья реки Муры. Когда я проезжал мимо, рассматривал ее, то смог заметить

на ней только изображение всадника, почему и не счел нужным снять с нее рисунок».

Сахаров погладил бороду и длинно улыбнулся каким-то своим мыслям:

— Бродяжничаем мы здесь, ищем бокситы, железо, места для гидростанций... И вдруг из-за двух столетий выглядывает Миллер и говорит: «Я видел на той скале всадника».

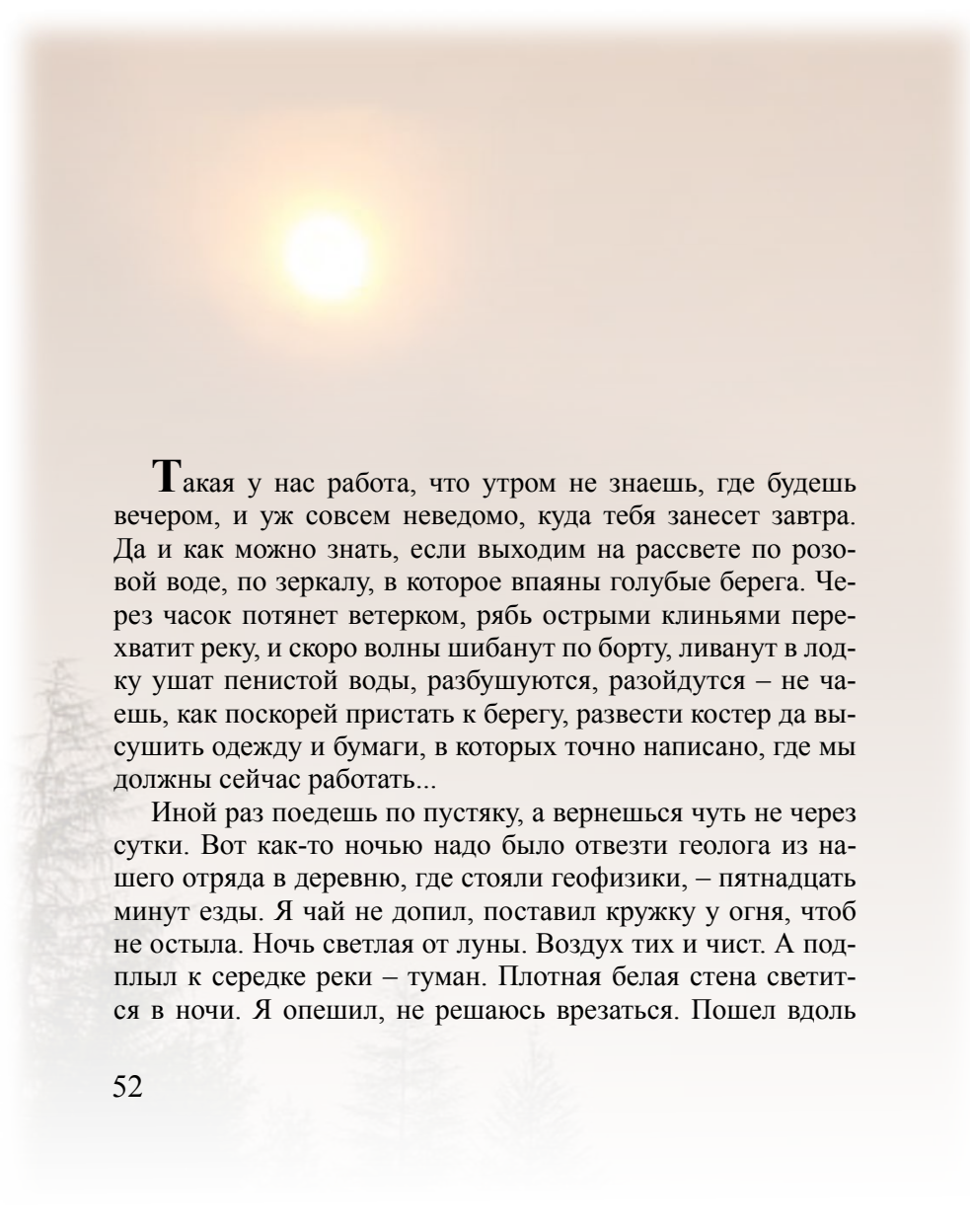
Ну зачем мне этот всадник? Мне по шурфам надо болтаться, потом готовить отчет... Но въелся в память этот всадник — и все. Его и непогода-то уж смыла, и ветер развеял, и проку в нем для нашего дела никакого. А вот думаю о нем и вам говорю. Почему так? Смутно понимаю, коряво. Может, из-за него сторона эта как-то родней становится, вроде обжита уж задолго до нас: Аввакум тут «на гребнях» шел, Миллер тоже... Весла на Ангаре и сейчас называют «гребки».

Это переплетение судеб, языка и мысли просто чудо!

Сахаров щелкнул пальцами по переплету, блеснувшему стертým золотом:

— Я думаю иногда, что самое значительное изобретение — это книга. Удивительный аппарат для передачи слова через века. Так прост и непрочен вроде бы. А плывет сквозь время, проходит все пороги и камни, и костры иной раз, и пожары минует... Если б мог заниматься сидячей работой, обязательно обзавелся б библиотекой. Все четыре стены заставил бы полками. Из остальной мебели, пожалуй, купил бы стол, раскладушку... Спальный мешок у меня есть... Черт те о чем размышлялся!

Огарок оплывал. Нож под ним светился красным. На другой стене шевелился огромный профиль геолога. Большая рука в медных волосках бережно прикрывала книгу, распростершую крылья и готовую лететь. Может, она уже и летела, и задумавшийся Сахаров видел, как ее страницы листают неведомые люди, как переплет гладят чьи-то далекие пальцы, и буквы отражаются в глазах, которые откроются через сотни лет...

A bright sun is visible in the upper center of the page, creating a soft glow. Below it, a body of water stretches across the middle ground, with a forested shoreline visible on the left. The sky is a pale, hazy blue.

Такая у нас работа, что утром не знаешь, где будешь вечером, и уж совсем неведомо, куда тебя занесет завтра. Да и как можно знать, если выходим на рассвете по розовой воде, по зеркалу, в которое впаяны голубые берега. Через часок потянет ветерком, рябь острыми клиньями перехватит реку, и скоро волны шибанут по борту, ливанут в лодку ушат пенистой воды, разбушуются, разойдутся – не чаешь, как поскорей пристать к берегу, развести костер да высушить одежду и бумаги, в которых точно написано, где мы должны сейчас работать...

Иной раз поедешь по пустыку, а вернешься чуть не через сутки. Вот как-то ночью надо было отвезти геолога из нашего отряда в деревню, где стояли геофизики, – пятнадцать минут езды. Я чай не допил, поставил кружку у огня, чтоб не остыла. Ночь светлая от луны. Воздух тих и чист. А подплыл к середке реки – туман. Плотная белая стена светится в ночи. Я опешил, не решаюсь врезаться. Пошел вдоль

стены. Удивительно – справа, в чистом воздухе, костер красным цветочком горит на берегу, и каждый листок видно в кустах, а по левому борту протянешь руку – пропадет в тумане. И так ярко сияет туман под луной, так отвесно поднимается ввысь, перегородив Ангару, что кажется плотиной, возведенной за один вечер.

Врезались в него. Дохнуло густой сыростью. Ничего не разобрать, лишь из черной пучины поднимаются белые змеи. Луна за спиной замутилась, расплылась, как молоко по воде. Стараюсь держать лодку прямо, чтоб выйти к деревне. Прибавляю обороты, а все кажется, что стоим на одном месте. Здесь такая гущина – воды за бортом не видно. Плыдем, словно по облакам, и голос мотора гложет, как в пуху. Верный курс, нет ли?.. Заплутаться ничего не стоит – ширина здесь километра три.

Когда справа дрогнули красноватые огни, не поверилось. Потом подумалось: самоходка стоит на якоре. И после уж оказалось – окна. Одни окна висят в тумане и светятся. Геолог прыгнул на берег и сразу пропал.

Назад двинулся по луне. Если, думаю, она была за спиной, то теперь должна светить в лицо. Плыл долго – и все ничего. Не кончается туман. Чую – заблудился посреди реки. И бензин на исходе – бачок вечером не заправлял. И чудно, и боязно. В тайге заблудиться – понятно, а на реке...

И вдруг фонарик на мачте замутнелся, и баржа вывернулась. Я принял ее за ленинградскую экспедицию – они вечером пристали чуть ниже наших палаток. Я и подходить

не стал – обрадовался, что свои рядом, всматриваюсь, не покажется ли костер. Но тут опять фонарик на мачте и бортовой огонь. Подошел ближе – наливная самоходка. Совсем не туда занесло. А ведь рулил прямо по луне... Как обманывает она.

Что делать? Повернул снова к деревне, поплыву, думаю, вдоль берега. Хотя и дальше, да верней.

Скоро засветилось желтое окно. Я решил – деревня, а это паузок\*, и торчат из-за борта рогатые коровьи морды.

Если б не свет в каюте, перепугался бы от неожиданности. Посреди реки вдруг топот копыт и сплетение рогов, и мычание, тупо глохнущее в тумане.

Кричу на паузок. Сонно, по-домашнему, скрипнула дверь. Вышел человек в белой рубахе и, зевая, спросил:

– Свежей рыбки нет?

Вот как. Правый берег-то совсем в другой стороне, чем казалось. Мурыжит меня туман, играет в прятки, водит, как сома на поводке. Зло берет, а злиться не на кого. Кое-как выбрался к деревне. Прошел ее. Серым привидением выступила скала в устье речки. Теперь недалеко до лагеря.

И тут заглох мотор. Кончился бензин. А течение навстречу, а туман еще гуще, и скала рассеялась в мути. Подхватит речонка лодку, отнесет на середину Ангары... Скорей поднимая мотор, берусь за весла. Так и пробултыхался до утра...

Теперь тоже. Летели на три дня, а застряли, не знаю на сколько. Все из-за погоды. Распрощались с Сахаровым в жаркий, ясный день. Вертолет забросил нас назад

---

\* Паузок – деревянная баржа.

на базу и ушел. На аэродроме стоял самолет. Договорились с летчиком, что завтра улетим, и завалились спать в конторе.

Дождь начался ночью. Он скребся в стекло, позванивал по лужам, булькал пузырями. Сквозь сон мы услышали его канительную песенку. Услышали и проснулись.

На рассвете в контору пришел Савинов, начальник здешней поисково-разведочной партии. Потихоньку перешагнув через нас, он пробрался к столу, достал карту и долго рассматривал ее, барабанив пальцами и вздыхая.

Дело худо. Вчера еще, не успели мы добраться от вертолета до конторы, узнали, что отряд поисковиков не вышел из тайги. Кончился последний срок, а они не вышли. Значит, и не могли выйти.

Странное волнение поселилось в груди. Тревога само собой, а это совсем особое волнение. Со вчерашнего вечера не дает оно мне покоя. Зародилось оно вот как. Мельком увидел я на столе Савинова список людей, которые были в заплутавшемся отряде. Шесть фамилий, и среди них – Павел Галкин. Так зовут мужа Веры...

Толком о нем никто мне не мог рассказать, но знали, что семья у него где-то на Ангаре. Это он. Я не сомневался, что он. Понимаю – нет ему до меня дела. Не знает он меня и не узнает. Но волнение не покидало, не отпускало. Никакой вины перед ним я не чувствовал и все-таки словно страшился встретиться с ним.

Самое же непонятное то, что постепенно я начинал думать о нем, как о знакомом человеке, попавшем в беду. Это было необъяснимо, но это было. Словно какой-то дальний

родственник, которого никогда не видел, но которому надо помочь.

Трудное чувство опасения встретиться и желания помочь заполняло меня, рождало волнение, колотившееся у сердца.

Все вокруг стало тревожным, напряженным и ломким. Каждую минуту ждалось неожиданное.

Посмотришь на Савинова, и во все вселяется тревога: шаги капель, точно нервный стук пальцев; дизель на краю поселка вздыхает уныло и тяжело; пила на лесопилке воеет с причитаниями, надрывно. Трудные звуки сплетаются и виснут в сырости утра, вливаются в дом, прокалывают сердце.

Рядом со мной, на стеллаже, почти у самого пола – кусок боксита, похожий на гречневую кашу в сметане. Теперь он видится другим. Просвечивают сквозь него переходы по болотам и тайге в комариной жаре северного лета. Проглядывают гари и топи, глухие дожди и туманы, и все ненастья, и все напасти, и все радости нашедших его людей. Весь труд собирается в обломке породы, в капле, отцеженной из многих дней поисков.

Не разговаривая и не расспрашивая ни о чем, мы потихоньку сворачиваем спальные. В контору собираются люди.

За окном в сырой кисее стоит самолет. Он похож на большую зеленую рыбу, уснувшую среди водорослей.

Пришел летчик – пружинистый, легкий парень в шелковой безрукавке и щегольских брюках. Он кажется чужаком среди порыжелых наших ватников, энцефалиток и сапог.

Савинов поднял на него глаза, не отпуская пальца от карты.

– Придется лететь, Миша. Они недалеко. Покрутись,

поразведай. Мы видим, как у зеленой рыбы дрогнули плавники, как она поплыла через аэродром и скрылась за лесом.

От такого ожидания что-то горит в душе и остается усталость. Ни говорить, ни слушать не хочется. Только смотреть на блеклое низкое небо, на провисшие бока облаков, цепляющих березы и лиственницы. Это оттого, что никто не знает, почему они не вышли. Почему? Неизвестно – почему.

Я налил в кружку воды из бачка и почувствовал вкус алюминия, и посмотрел на кружку, на ее сероватый блеск, и погладил ее. Никогда я не думал, чего стоит алюминий.

А в конторе кто-то вспомнил о Корецком, геологе, погибшем недавно на Нижней Тунгуске. Третий раз я слышу о нем. Он, оказывается, был ученый, бокситчик.

Он еще жив в памяти этих людей. Говорят о нем, будто ждут приезда. От рассказов и сам начинаешь видеть его.

Вот штормовой Енисей. Блеклая каемка тайги и тусклые огоньки деревни. Гвоздит вечерний дождь, и волна стегает в лодку. А лодка на середине реки и никак не может уйти к берегу, потому что отказал мотор.

Корецкий достает инструменты и копается в моторе со спокойствием часовщика, сидящего в тихой мастерской. Волна окатывает по пояс. Корецкий выронил какой-то болтик и домашним, совсем тихим голосом просит Савинова поискать на дне лодки. А сам при свете карманного фонарика что-то развинчивает, собирает, постукивает и насвистывает песенку. Иногда тихонько посмеивается, приговаривая:

– Э... э... э... не годится так высказывать из гнезда, не годится, нехорошо, брат, нехорошо. Сейчас тебе головку под

крутим... Иди-ка сюда. Мокрый шквал бил по рукам. Берегов давно уже не было видно. Савинов одной рукой отливал воду, а другой держал фонарик.

– Жень, не волнуйся и не ругайся, – говорит Корецкий, откладывая в сторону инструмент. – Мы ж не на свидание идем и не автобуса дожидаемся. От этой старой машинки зависит жизнь. Тут только спокойствие поможет.

И он исправил мотор.

А в другой-то раз еще почище получилось. Вот Корецкий после тяжелого маршрута спит в катере под брезентовым тентом. Моторист, озорной малый, когда подходили к острову, заметил медведя, переплывающего Ангару. Направил катер на зверя. Тот – обратно, к острову. Моторист решил отогнать его на середину и начал кружить вокруг. И тут катер, видно, задел мишку – поранил или ударил. Медведь ушел под воду. Моторист остановился, вылез из кабинки, стал наблюдать, где он вынырнет. Косолапый вырвался у самого борта и с рычанием, ловко, словно заранее все продумал, зацепился за борт и полез наверх.

Только здесь парень рассмотрел, какой это огромный зверь. Катер накренился и едва не черпнул воды. Медведь перевалился на палубу у кормы. Моторист с криком бросился в реку и поплыл к острову. Дрожащий, выгреб к кустам, лег на песок, закрыл голову руками, не решаясь посмотреть, что чудовище сделало со спящим геологом. И вдруг голос Корецкого:

– Саша, да где ж ты? Э, куда тебя занесло! Сейчас я подрулю.

Оказалось, крик моториста все же разбудил его. Он проснулся как раз, когда медведь просовывал башку под тент. Корецкий нашарил под головой в рюкзаке пистолет и в упор высадил почти всю обойму в голову зверя.

...А это осенью, когда «упал комар» и ветер сбивает мошку. Из-за озера, перечеркнутого искрами березовых листьев, ярко проглядывает поселок. Устроившись на поваленной лиственнице, Корецкий пишет этюд. Ему нравится еще раз все воссоздавать на полотне. Будто мало того, что построено, и можно на память назвать всякое бревно и каждый шов у палаток.

В который раз он слышит, как за спиной раздвигаются кусты. Глядит искоса, не поворачивая головы, и видит мальчишку Лёню, что живет у аэродрома, на краю поселка. Стоит оглянуться – он пропадает в кустах.

Закончив этюд, Корецкий обошел озеро и к поселку выбрал через болотце, как раз напротив домика Лёниных родителей. Мальчишка был дома. Он совсем оробел и ни слова не сказал на расспросы. А мать достала из ларя два розовых альбома с ленточками и пачку тетрадных листов. Там лепились друг к другу филины, вертолеты, лисицы, бульдозеры и бурундуки. Лёня заплакал и уткнулся в кровать.

В воскресенье Корецкий устроил в конторе выставку. По стеллажам с образцами протянули струганные доски и на них прикрепили рисунки. На дверях магазина и почты вывесили афиши, написанные на кусках бумажного мешка.

Но Лёня еще долго дичился. Потихоньку, медленно привык и привязался. В лаборатории смотрел, как Корецкий

делает пробы пород, в конторе слушал разговоры и рисовал на бланках, летал с ним на вертолете в тайгу и ходил туда, где пробивают дорогу на ближний участок. Всегда Корецкий находил ему занятие – следить ли, как в тигле на плите бродит глина, высматривать ли перекрученный корень сосны, похожий на дракона, отыскивать ли гнезда птиц. Больше же всего любил геолог смотреть, как Лёня рисует, и всегда расспрашивал, почему так, а не этак, и никогда не поправлял.

Он взял рисунки в Москву, на другой год Лёню приняли в какую-то школу, где учат маленьких художников.

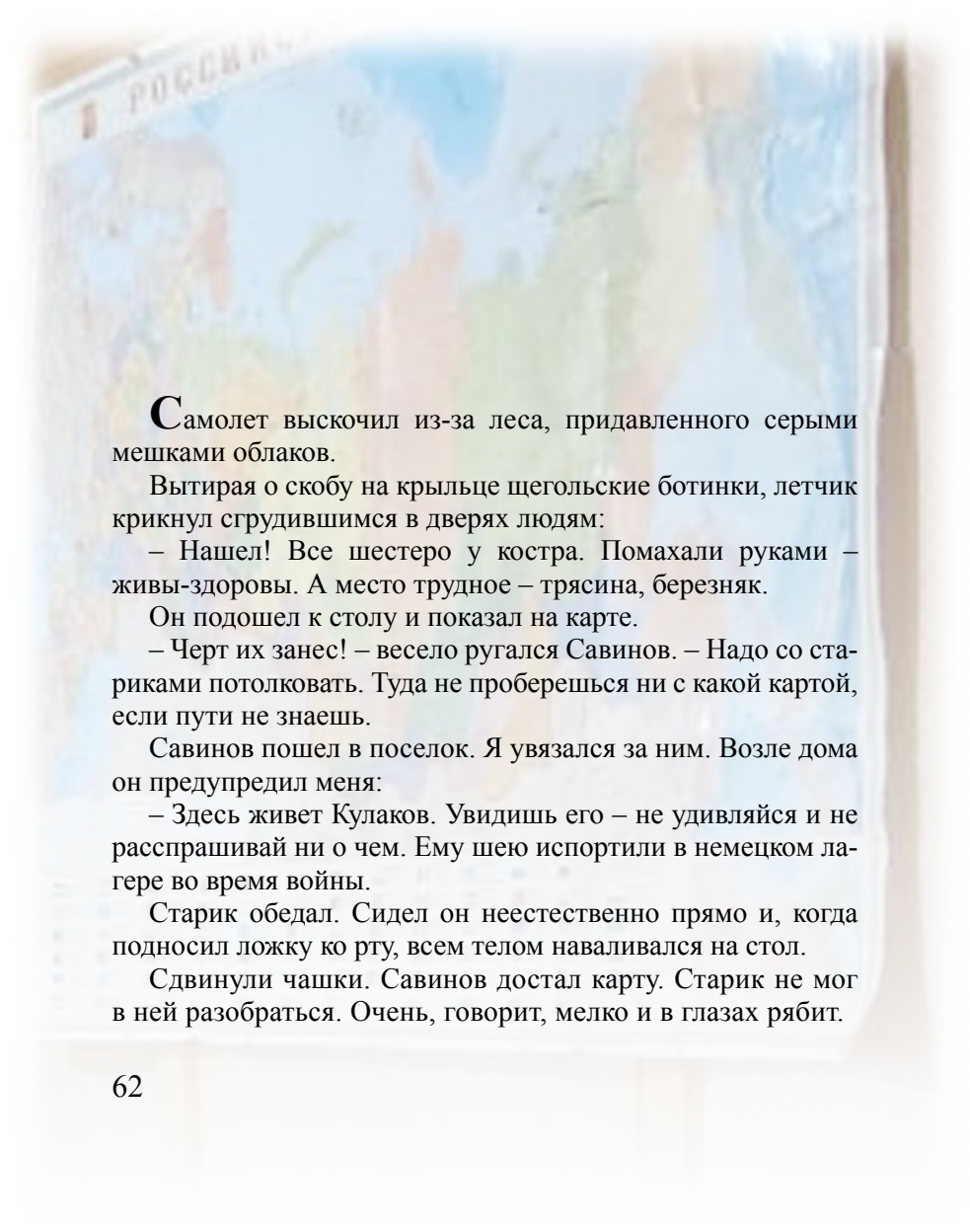
Савинов еще вспомнил, что Корецкий говорил как-то о разных профессиях и судьбах людей. Будто за свою историю человечество все дальше уходило от природы. Рождались специальности, которые никак не связаны с землей, с добычей. Очень многие люди стали заниматься лишь переработкой того, что другие взяли у природы, – руд, минералов, угля и нефти. Но трудности, опасности первобытной жизни, которые в давние времена грозили каждому, остались и теперь. Только ложатся они на плечи одних поисковиков, на тех, кто по профессии должен быть в неосвоенных местах.

И какая бы ни была техника, все равно подступают к человеку неожиданные и опасные силы, и остается он с ними один на один, с голыми руками. Забросят в таежную нежилую даль с комфортом, на вертолете, а потом как хочешь пробирайся. И весь смысл работы в этом – идти, в облаке беспощадной мошки и жгущего комара, вынюхивая, где что

кроется под землей. И столько всяких случайностей на пути, столько трудностей, что ничем ты, поди, и не отличаешься от одетого в шкуры далекого своего предка. Морозы ли застанут, ураган ли, пожар – чем защитишься? Один ты, или двое, или трое – с дичью необжитой не пошutiшь.

Но вот пройдут разведчики, покажут, где железо или бокситы, а там и строители начнут свое дело. Тоже им сначала не просто, но уж легче. Они хоть твердо знают место, где работают сегодня, завтра и через год.

И лезут уже в рудники шахтеры. И металлурги получают руду. Эти живут в городах, и до природы им нет дела. Все равно им – дождь ли, зима ли, непогода, или солнце. Отработал смену – и дома. И видят они природу лишь в кино да по телевизору. Ну, если на лыжах в лесок выберутся, а то с палаткой летом, на ночевочку – вот и все. И по-другому им нельзя. А нам, поисковикам, разведчикам, тоже по-другому нельзя. Такое дело у каждого. Так получилось – куда тебя занесло или что нравится, тем и занимаешься.



Самолет выскочил из-за леса, придавленного серыми мешками облаков.

Вытирая о скобу на крыльце щегольские ботинки, летчик крикнул сгрудившимся в дверях людям:

– Нашел! Все шестеро у костра. Помахали руками – живы-здоровы. А место трудное – трясина, березняк.

Он подошел к столу и показал на карте.

– Черт их занес! – весело ругался Савинов. – Надо со стариками потолковать. Туда не проберешься ни с какой картой, если пути не знаешь.

Савинов пошел в поселок. Я увязался за ним. Возле дома он предупредил меня:

– Здесь живет Кулаков. Увидишь его – не удивляйся и не расспрашивай ни о чем. Ему шею испортили в немецком лагере во время войны.

Старик обедал. Сидел он неестественно прямо и, когда подносил ложку ко рту, всем телом наваливался на стол.

Сдвинули чашки. Савинов достал карту. Старик не мог в ней разобраться. Очень, говорит, мелко и в глазах рябит.

— Константин Яковлевич, как же быть-то? — тихо спросил Савинов. — Мы сейчас пойдем, но ведь и сами там можем застрять и проплутать можем... Места уж очень трудные и неразведанные. А у ребят последняя корка на счету.

Кулаков словно не слышал. Неподвижно и прямо сидел он у окна. Лишь иссеченные морщинками щеки и синеватые губы едва заметно шевелились. Он говорил с самим собой шепотом.

— Так что ж делать будем, дед? — вздохнул Савинов.

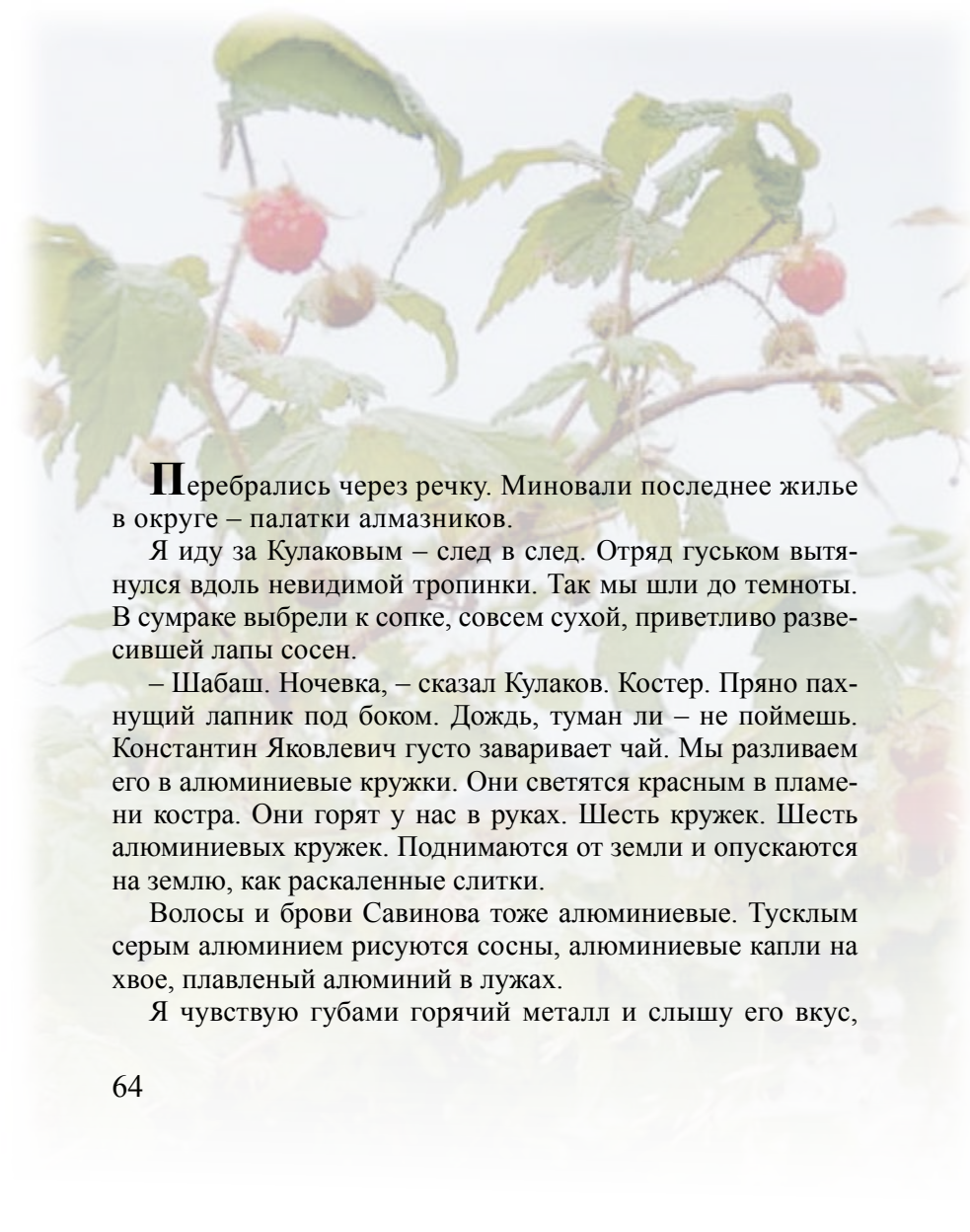
— Посмотреть мне надо, где они.

— Легко сказать — посмотреть.

—Хоть глазком бы взглянуть, — голос Кулакова попелушинуму жалко сорвался. — Харчи будешь им слать и меня с летчиком устрой. Я только посмотрю...

Снова уплыла в хмуристое небо зеленая рыба. Опять вернулась и скользнула по аэродрому. Присев на корточки, из ее брюха вылез негнушийся старик.

— Знаю. Кто пойдет-то?



**П**еребрались через речку. Миновали последнее жильё в округе – палатки алмазников.

Я иду за Кулаковым – след в след. Отряд гуськом вытянулся вдоль невидимой тропинки. Так мы шли до темноты. В сумраке выбрали к сопке, совсем сухой, приветливо развесившей лапы сосен.

– Шабаш. Ночевка, – сказал Кулаков. Костер. Пряно пахнущий лапник под боком. Дождь, туман ли – не поймешь. Константин Яковлевич густо заваривает чай. Мы разливаем его в алюминиевые кружки. Они светятся красным в пламени костра. Они горят у нас в руках. Шесть кружек. Шесть алюминиевых кружек. Поднимаются от земли и опускаются на землю, как раскаленные слитки.

Волосы и брови Савинова тоже алюминиевые. Тусклым серым алюминием рисуются сосны, алюминиевые капли на хвое, плавленный алюминий в лужах.

Я чувствую губами горячий металл и слышу его вкус,

и запах, и его голос. У него такой сложный голос. Не поймешь – дождь в хвое, комар гудит или идет глухой разговор...

Проснулся я утром. Кулаков на том же месте, тем же движением заваривал тот же чайник. Словно не было ночи.

Как прямо сидит старик с гордо поднятой головой. Лишь когда он двигается, видно, что это недостаток.

– Опять сеет грибной. Туда его... – ворчит кто-то.

– Дождь будет шесть дней, – говорит Кулаков.

– Когда вернемся, посмотри его барометр, – наклонился ко мне Савинов, – к оконной раме прибит еловый сучок. И все. Посмотрит Константин Яковлевич и скажет, какую ждать погоду.

Морщины на лице Кулакова зашевелились и собрались в один пучок, зажатый плотно стиснутым ртом.

Мы шли весь день. И весь день болталась у меня перед глазами алюминиевая кружка, привязанная к тощему мешку старика.

Ночью у костра Кулаков долго ворчал, что, занявшись недрами земли, мы совсем забросили тайгу. А ведь были тут зимовья и уголья. Следили и ходили за тайгой. Белку ли, птицу ли, сохатого – все в свое время били. Этому лесному хозяйству пращуры еще научились от эвенков. Вот озеро, которое около поселка. Оно без толку стоит. Мальчишки в нем мелочь удочкой ловят. Эвенки же с этого озера собирали рыбы столько, что кормились.

– Им вертолетом тушенку не возили, – усмехнулся старик. – Нужно больше охотничьих хозяйств делать. Тайга все даст: и мясо, и соленья, и коренья. Только она заботу любит.

И зверь любит, чтоб его по шерсти гладили. А то ведь что ж это! Приди на любой участок – ни рябчик не свистнет, ни бундук не пискнет. Все разбежались, потому что бьют без толку. Ружей больно много развелось.

– Как под землю глядеть – хозяева, – скрипел Кулаков.

– Каждую крупицу под землей взвешают, а на земле у себя, как пожаром, все бреют. Надо на угодыя разбить тайгу, и каждый пусть за угодые отвечает и собирает с него, чтоб народу была прибыль. Целые колхозы так можно сделать...

Ворчал он долго. И особенно против того, чтоб на вертолетах «из России» возить сюда продукты. Своей ли, мол, сохатины, да оленины, да рыбы, да грибов не хватит!

Утром пришли мы к тем топям. Люди поднялись навстречу. Из-за сеток лишь глаза блестят да бороды ёржаются на потемневших лицах. Ватники и энцефалитки изодраны в клочья, залатаны через край. Вот как их потрепала тайга. Смотрят на нас, будто мы привидения – сейчас исчезнем. Не веря себе, робко идут навстречу.

Такая тут радость – забыл я свои недавние волнения и раздумья. Все шестеро казались на одно лицо и вызывали одинаковое желание помочь, ободрить, поскорей увести из этого гнилого места.

В суете, в бессвязных словах и торопливых рассказах мельком проскользнуло имя Павла Галкина. И я очнулся, опомнился.

Вот он. Тощий малый. За дырявой сеткой накомарника запекшиеся губы и воспаленные, усталые глаза. В кровь изъеденные мошкой руки беспомощно торчат из обмызган-

ных рукавов энцефалитки. Он неловко разминает сигарету и осторожно сует под сетку.

...Это, наверно, его энцефалитка у Веры. Я пытаюсь представить Веру рядом с ним и не могу. Наверно, оттого, что слишком уж дикий у Павла вид. А Вера даже в энцефалитке выглядит по-домашнему.

Я забываю обо всем, словно засыпаю с открытыми глазами. Только Вера остается в моих мыслях, больше ничего. Ни болота, ни березок, ни сломанной осоки под ногами... Лишь всплески коротких и далеких встреч, лишь тепло дыхания и лебеди рук, выплывающие из темноты...

Павел о чем-то спрашивает меня. Не разобрал – о чем. Сигарета прожгла сетку, и нитки тлеют, а он не замечает. Белки его глаз сплошь в паутине красных жилок, и клочковатая, сваленная щетина, ставшая уже бородой, подступает к глазам, заполняет провалы щек.

– Где был на Ангаре? – повторяет вопрос Павел.

– В Подкаменной, – отвечаю я, и наши глаза встречаются.

Странно, лицо его осталось прежним. Он ничуть не заинтересовался. Он словно пропустил мимо мои слова.

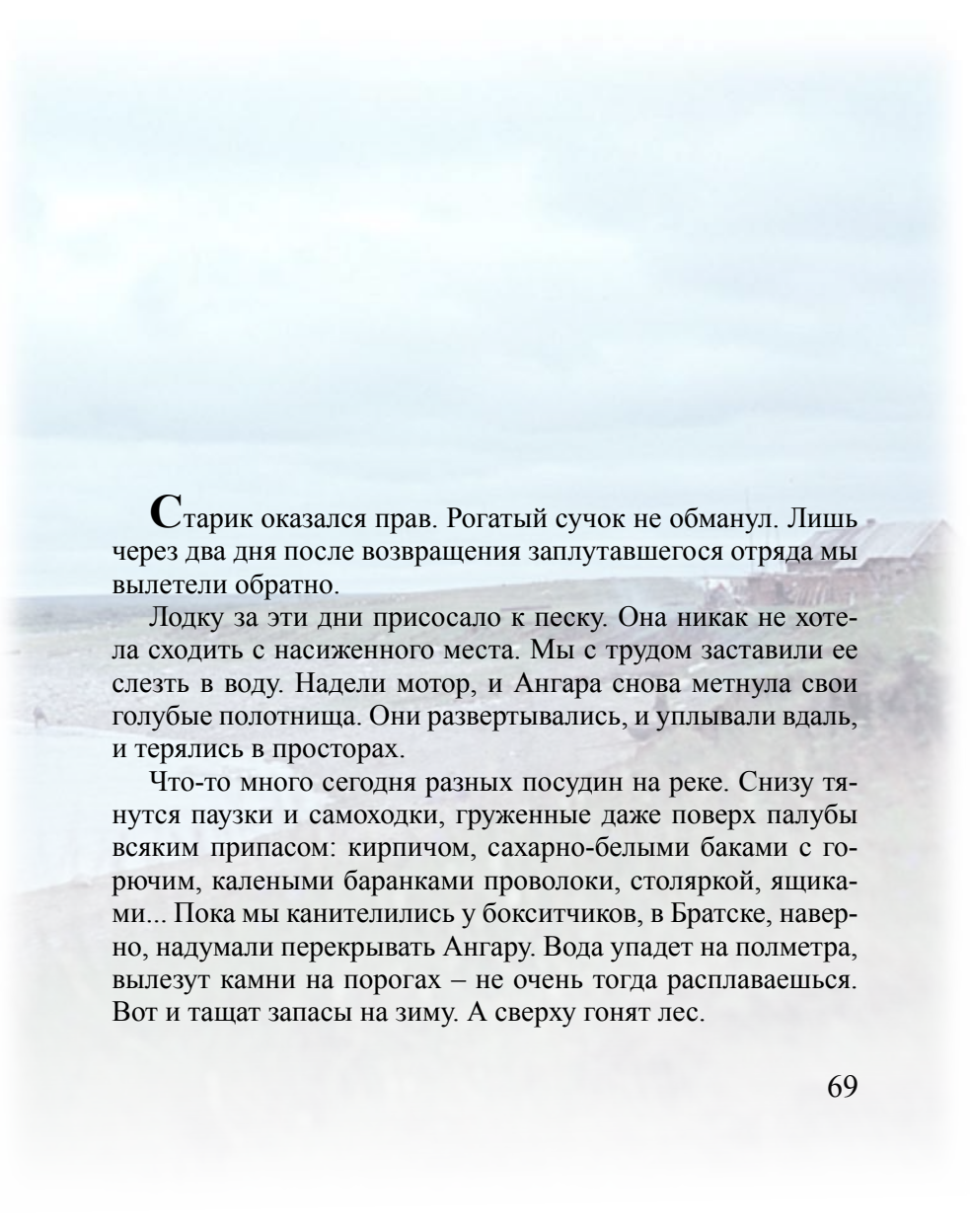
– В Подкаменной был недавно, – повторяю я и чувствую, что злюсь на него. Как ни устал он, нельзя же быть таким равнодушным к семье. Мне обидно за Веру и мальчишек. И еще – в душе, где-то на дне, всколыхнулась, как ил, нехорошая радость. Радость надежды, что его равнодушие дает мне право на Верину любовь... Я стыжусь этой радости, но она есть.

– Жаль... жаль... – бормочет Павел.

– Чего жаль? – спрашиваю его.

– Совсем рядом с моими был... Я из Кондаков. Знаешь Кондаки на Тасеевой?.. Там у меня жена и дочка. У матери живут, недалеко от пристани...

Фу ты, черт! Совсем, оказывается, он и не муж Веры. Надо же так совпасть – имя и фамилия, и бокситчик... Всю тяжесть с души сняло. И опять нахлынула радость – чистая, хорошая радость, что спасли мы этих ребят.



Старик оказался прав. Рогатый сучок не обманул. Лишь через два дня после возвращения заплутавшегося отряда мы вылетели обратно.

Лодку за эти дни присосало к песку. Она никак не хотела сходить с насиженного места. Мы с трудом заставили ее слезть в воду. Надели мотор, и Ангара снова метнула свои голубые полотнища. Они развертывались, и уплывали вдаль, и терялись в просторах.

Что-то много сегодня разных посудин на реке. Снизу тянутся паузки и самоходки, груженные даже поверх палубы всяким припасом: кирпичом, сахарно-белыми баками с горячим, калеными баранками проволоки, столяркой, ящиками... Пока мы канителились у бокситчиков, в Братске, наверно, надумали перекрывать Ангару. Вода упадет на полметра, вылезут камни на порогах — не очень тогда расплаваешься. Вот и тащат запасы на зиму. А сверху гонят лес.

Низовой ветер теплый, бьет прямо в лицо, и солнце палит в лоб, и брызги пляшут по щекам. Все точно сговорились и весело, по-доброму, озоруют с нами. Бодро гудит мотор, и от борта с шипением отваливается зеленый пласт воды.

Справа по ходу – скала Писаный камень. Никакого всадника на ней. Лишь белое отражение ломается в воде. Но вспоминается мне рыжебородый Сахаров, и его древние книги, и свеча на рукоятке ножа...

И дальше, дальше пенится наш путь. Через теплый ветер и слепящее солнце.

Возле Брянской шиверы у берега – паузки со всякой строительной всячиной. Навстречу – караван наливных барж. По синему важно плывут, как белые лебеди. Сверкают надстройки, горят красные флажки на мачтах – «опасно» – значит, не подходи, не чалься.

Я прикрыл глаза ладонью и вижу вдали совсем черные литые глыбы скал у Мурского порога. Выкручиваю ручку мотора, даю такого газа, что лодку трясет, и вдребезги разбитые волны осыпаются на спину Николая Нилыча, сидящего на носу. Он закрывает аппарат, всегда висящий на груди, и показывает мне кулак. Но скорость сейчас нужна. Близок порог, а там главное, чтоб мотор тянул быстрее течения. Тогда можно управлять лодкой. Если откажет или замешкаешься – пеняй на себя...

Скоро начнется... Низкий зеленый остров точно со дна всплыл справа. И буксиришко с бесконечным кошелом леса вынырнул откуда-то впереди. Красные бревна в синей воде.

С таким извозчиком нам нельзя вместе выходить на порог. Кто его знает, что с ним может случиться... Обогнать!

Скалы сразу выросли до неба. Загораживают солнце, холодно виснут над рекой. Под их сумрачным взглядом Ангары совсем переменилась, потемнела.

Знаю я это трудное место. Фарватер здесь справа, у острова. Потом сворачивает влево, к скалам.

И вот сразу кончился остров. Оскалился порог. Километра на два торчат в бурунах черные спины камней. Вода рычит и ярится, будто дерутся на реке морские львы. Тут не зевай.

Между вешками влетаем в самую пасть порога. Здесь вечно стоят на одном месте высокие валы, отлитые из пены.

Лодка – шесть досочек, скрепленных сосновыми копаньями, – хлопает днищем по каменной воде. Словно шторм налетел на нас. Всего на ладонь поднимается край борта над холодным кипятком Ангары.

Это просто чудо на порогах. Так низко сидит лодка и так ловко прошивает вал – и невредима вылетает из него. Думать и рассусоливать тут некогда. Глаз видит, рука правит – все разом. Среди валов, подставляющих навстречу крутые спины, выбираешь, какие поменьше, и правишь на них.

А река несет сломя голову, а мотор еще подбавляет ходу – лодка летит. Но это потом уж понимаешь. Сейчас кажется, что она едва тащится по бурунам. Столько их еще впереди скалят белые клыки да норовят всадить в борт! Повернись лодка боком к волне – мигом подомнет и смелет в щепу.

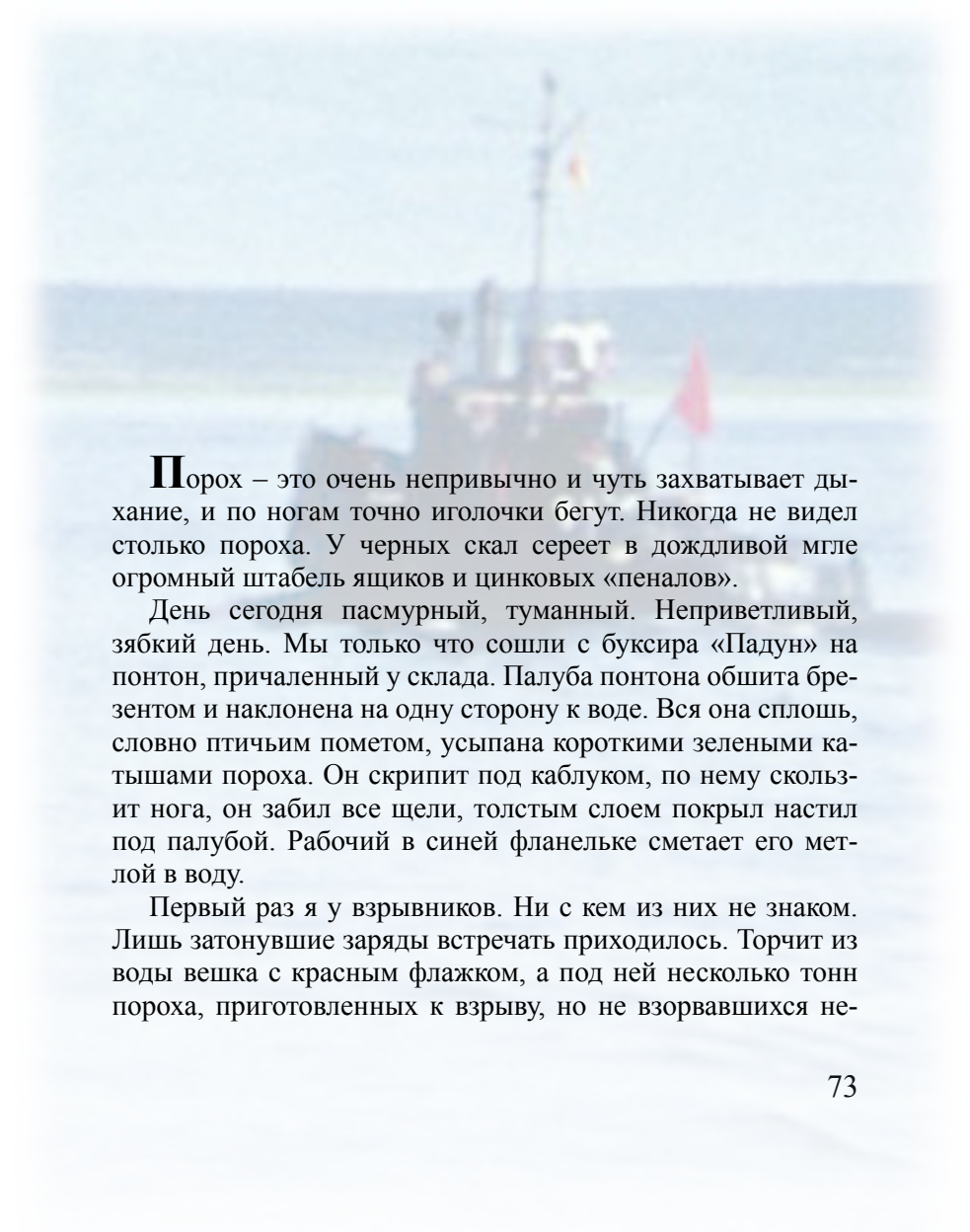
Наконец вышли из крупных бурунов. Злоба реки здесь

опадает. Ангару лишь трясет крупной зыбью. Значит – пронесло! Отлегает от души.

Отсюда порог видится по-иному. Он словно длинная ступенька. Полотнище реки ломается на ней и сдерживается сверху вниз. До порога оно чистое, голубое, а за ним – рваное, клочковатое, вывернутое наизнанку. И кругом все гремит, рычит, вое и бухает.

Как же это мы такую ступеньку перепрыгнули?..

В устье речки Муры, под скалами, стоят две баржи, сцепленные борт о борт. Это взрывники. Немного ниже по реке – склад взрывчатки на берегу и белый паузок с красными буквами: «О П А С Н О».



**П**орох – это очень непривычно и чуть захватывает дыхание, и по ногам точно иголочки бегут. Никогда не видел столько пороха. У черных скал сереет в дождливой мгле огромный штабель ящиков и цинковых «пеналов».

День сегодня пасмурный, туманный. Неприветливый, зябкий день. Мы только что сошли с буксира «Падун» на понтон, причаленный у склада. Палуба понтона обшита брезентом и наклонена на одну сторону к воде. Вся она сплошь, словно птичьим пометом, усыпана короткими зелеными катышками пороха. Он скрипит под каблуком, по нему скользит нога, он забил все щели, толстым слоем покрыл настил под палубой. Рабочий в синей фланельке сметает его метлой в воду.

Первый раз я у взрывников. Ни с кем из них не знаком. Лишь затонувшие заряды встречать приходилось. Торчит из воды вешка с красным флажком, а под ней несколько тонн пороха, приготовленных к взрыву, но не взорвавшихся не-

известно почему. И маячит эта вешка в самом опасном месте – на шивере или пороге. У избушки бакенщика поднят сигнал: «Проход запрещен». Выше и ниже по течению скопились суда. А мы на лодке проскакиваем мимо. Рулишь и не знаешь, что будет через секунду. Но все обошлось хорошо. Сам я, пожалуй, не рвался бы на рожон. Николай Нилыч всякий раз подбивает:

– Айда с нами кочевать!

...Лишь зимой вернулся Николай Нилыч домой.

Ненасытность его, неожиданность, неприкаянность – все собралось в глазах, словно выцветших от виденья. Никто из нас не умеет и не может так видеть. Щуплая фигурка его в сером ватнике словно пропитана неистовой силой познания. Тут какое-то сходство с зеленоватыми катышами пороха, таящими под невзрачностью огненную мощь.

В ненастной промозглости, которая стерла все краски, одно яркое пятно на понтоне – прораб взрывников Дергачев. Он в красном спасательном жилете. Высокий поджарый парень из-за этого жилета превратился в горбуна – надувные подушки пузырятся на спине и груди. Они очень нелепы, эти подушки. Серьезное обветренное лицо Дергачева никак не вяжется с шутовским нарядом. Но это не вызывает даже улыбки. Странная одежда придает ему особенную торжественность. Дергачев осматривает понтон по-хозяйски. В глазах его что-то вроде скуки. Коротко поговорил с рабочими. Переглянулся недовольно с бригадиром – низеньким пареньком, похожим на мяч из-за черного вздутого жилета. Деловой человек этот Дергачев. Даже сухой человек, черствый.

С нами, пока плыли на буксире, двух слов не сказал. Точно забыл про нас. Лишь, когда причалили к понтону, вспомнил: – «Спички, папиросы есть?» – спрашивает.

Николай Нилыч достал – думал, он закурить хочет, а тот взял и спрятал в рубке. Зачем? Почему? Догадались, что курить тут нельзя, но ведь мог объяснить, а он молча отобрал, и все.

Мы не в обиде. Нисколько не в обиде на Дергачева.

Тут не до обиды. Такая дьявольская сила рядом. Прихотливая, необъяснимая и капризная сила.

И ведь просто все, обыденно. Вдоль палубы лежат четыре длинных, раздувшихся от пороха марлевых мешка. Точно белые гусеницы присосались к настилу. Двое парней набивают пятый. Вставили в горловину помятое ведро без дна, загребают порох из ларя и сыпают в эту воронку. Постепенно гусеница раздувается и тяжелеет. Рабочие берут ее поперек брюха, и она, изгибаясь, ползет ближе к воде. Дергачев щупает – хорошо ли набита. Его продолговатое лицо, на котором не поймешь – то ли выгоревшая борода, то ли давно не бритая щетина, – озабоченно и замкнуто.

А ребята работают весело, привычно, словно картошку таскают или макароны. Вон на берегу парень вывернул из штабеля тяжелый ящик, разбил ломиком, вытащил четырехпудовый мешок пороха, взвалил на плечи, принес на понтон и бросил рядом с нами. Да, бросил, как мешок с крупой. Утер лоб, зачерпнул из ведерка воды, напился и остатки плеснул на пороховую гусеницу.

Мы все замечаем с непривычки. Все вроде бы опасное,

необычное. А для рабочих это самое обыденное дело. Воду, например, парень плеснул на порох. Для нас странно: вода и порох. Оказывается, намокший порох взрывается лучше сухого. Потому и забивают его в марлевые мешки, чтоб он как следует промок под водой – сила у него будет больше. И ребята здешние кажутся смельчаками, а для них все это просто работа. Просто работа, от которой устаешь и за которую получаешь зарплату.

Николай Нилыч как-то сказал о романтике. Романтика, говорит, – это невежество. Романтичным выглядит то, что мы плохо знаем. Для людей, которые работают хоть на Северном полюсе, никакой романтики в этом нет. Для таежного жителя, который приезжает в большой город, городская жизнь – сплошь романтика, потому что ничего он не знает. У него в лифте поджилки трясутся, а на улице кружится голова. И потом, дома он каждому встречному целый год рассказывает: «Ну, чудеса, кнопку нажал – очутился на десятом этаже!»

Николай Нилыч не любит невежество и романтические «ахи» и «охи». Наверно, поэтому у него заgreбушие глаза. Он узнает все обо всем, что видит, куда забросит его жажда новых мест и людей. Это его работа – видеть, видеть то, чего другие никогда не увидят, а если и увидят, то его глазами через зрачок его аппарата.

Работа его тяжела. Я-то знаю, что тяжела. Потяжелей моей. Мне что: подвез его на лодке, заглушил мотор, взвалил на плечи мешок, притащил хоть сюда – и отдыхай, прикорнув в уголке. А он будет крутиться, смотреть, расспраши-

вать, записывать, снимать до истощения, до бешенства. Помню раз на скалах к вечеру, в жару что-то не получалось у него, так он размахнулся и чуть не кинул аппарат в реку. И бросил бы – я рядом был, за руку удержал. Он едва не избил меня за это. Но тут же остудил себя, извинился. Лег в тени и минут двадцать лежал, закрыв глаза...

На понтоне уже кончили набивать заряд. Ребята притащили две сосновые слеги, положили поперек мешков и кусками расплетенного каната привязывали к марлевым гусеницам. Так надо, чтоб не разбросало течением.

Бригадир, похожий на мяч, принес пять связок запальников – красных патронов, перетянутых бечевкой. Он разгреб порох в устье мешка, запихнул туда запал и вывел наружу проволочку к взрывному механизму.

Буксир с понтоном, накрепко подчаленным к носу, отвалил от склада и пошел по течению.

Вот и шивера, где ведут взрывные работы. Вдали избушка бакенщика смотрит пустыми окнами. Старик выставил их, чтоб не выбило воздушной волной. Почти у самого борта – черные опаленные скалы и закопченный бичевник\*. Двигатель уравнивает ход «Падуна» со стремниной. Буксир стоит без якоря и причала. Только за бортом со свистом летит вода.

По шивере скачет вешка. Бригадир на краю понтона с багром. Он следит за вешкой и рукой дает сигнал капитану, как точней подвести заряд к месту взрыва. Он хочет захватить вешку багром, а она выскальзывает, крутится, словно рыба. Наконец поддел, вытянул и потащил скользкий

---

\* Бичевник – полоса берега у воды.

трос, укрепленный одним концом за вешку, другим, на дне, – за якорь. Трос быстро прикрепили к заряду. Бригадир махнул капитану:

– Пошел помалу!

Марлевые гусеницы на понтоне дрогнули, тихонько поползли к воде, коснулись носами волны, подождали мгновение и тяжело сползли в буруны. Закрутилась на палубе катушка, заструился в воду золотистый провод, соединенный со взрывной машинкой.

Рабочие молча сидят на ящике. Три тонны пороха отдаляются от нас. Река проглотила гусеницы, и не заметишь, где они. Против избушки бакенщика включили сирену. Ее вой быстро гаснет в низких облаках, в тумане и волокнах дождя. Никого на реке. За порогом голубеет полоса неба. Иногда она тускнеет под росчерком дождя, но все время живет вдали.

Опять завывла сирена. Бригадир перешел к взрывной машинке, проверил контакты, пристроился поудобней и начал быстро крутить ручку, всматриваясь в глазок индикатора.

Потом незаметным движением нажал кнопку. Раздался короткий сильный удар. Над рекой вырос черный кактус. Он все тянется и тянется вверх. Он так велик, что скалы кажутся грудой камней у его корня, а река сжалась, и буксир затерялся на ней маленьким зернышком.

Кактус вырос и застыл. Глаз не мог охватить его. Мы закинули головы, чтоб увидеть вершину. Разве может человек сделать такое одним движением пальца? Вот ведь люди – в горбатых жилетах, крохотные, как маковые крупинки на

квадратике понтона. Они беспомощно сидят и смотрят. Просто смотрят вверх.

Кактус быстро отжил свое. Он стал разваливаться на бесформенные глыбы и опадать в реку рваными полотнищами черной воды, песка и камня. Сразу подул ветер. Он принес речные капли и запах пороха, как после выстрела из охотничьего ружья.

Ветер кончился так же, как и начался. Резко запахло рекой, водорослями и рыбой. За бортом хлещет тушь, смешанная со щепками, клочьями травы и обрывками пены.

Я вбираю воздух, точно пью из кружки странный густой отвар. Каждый глоток заставляет вспомнить о сетях, развешенных на берегу, о звоне сосновых поплавок, которыми играет ветер, о волокнах водорослей между нитями невода, о щуках, глядящих ледяными глазами, об осетрах, царственно парящих в прозрачной воде, о суете рыбной мелочи в теплых заводях, о медленных улитках на сочных стеблях, расчесанных течением. И еще я вспоминаю стадо коров, стоящих по горло в реке. Они, как утки, ныряют, вытягивают из глубины длинные водоросли и, закинув головы, жуют их... Все это мелькает в памяти быстрее воды, проносящейся за бортом.

«Падун» возвращается к складу. Бригадир крутит катушку, сматывая оставшийся провод. Рабочие толкутся около. Говорят кто про что. Кто про удочки, кто про детей, кто про новые дома в поселке у Брянской шиверы и про печи, для которых привезли кирпич.

Для второго взрыва приготовили заряд поменьше — тон-

ны в полторы. Дергачев ткнул сапогом в марлевый мешок, ругнул бригадира – слабо набили – и снова потянулся буксир сквозь зябкие волокна измороси к избушке бакенщика.

Я зашел в каюту, где Николай Нилыч перезаряжал аппараты. Наверху завывала сирена. В иллюминаторе мелькнул встречный катер.

– Черт несет под самый взрыв... – проворчал Николай Нилыч.

Я сказал, что катер проскочит. С хорошей скоростью ничего не стоит миновать порог, пока мы тащимся.

В узкую дверь протиснулся Дергачев со своим жилетом. Помялся, наблюдая за руками Николая Нилыча, и попросил сфотографировать себя. Стеснительно попросил, будто заранее знал, что откажут. Матери хочет карточку послать. У него мать в Новосибирске, а жена с дочкой здесь, в поселке у Брянской шиверы.

Показался он сейчас каким-то мальчишестым, неуклюжим, этот Дергачев. И на щеках у него вовсе не борода. Просто он небрит. Замотался, наверно, а может, и ленился.

Николай Нилыч сказал, что никого не снимает, потому что карточки посылать – большая морока, но его сфотографирует, пусть только напишет свой адрес.

Дергачев присел на койку и долго выводил карандашом буквы. Очень, говорит, почерк плохой, поэтому, чтоб понятно было, пишет чертежным шрифтом. А на буксире сниматься он не хочет – больно страшный вид в спасательном жилете и небрит. Сейчас сделаем взрыв, пойдем к баржам у порога, там он побреется и тогда уж...

Дергачев на полуслове замолк, прислушался. И вдруг

резко повернулся, саданул створку двери, вылетел из каюты и загремел сапогами по трапу.

– Что такое? – поднял брови Николай Нилыч.

Мы выскочили на палубу вслед за Дергачевым. Его не было видно за рубкой. Только слышался голос, надсадный, высокий голос:

– Отойди от борта, так твою!..

О, что это? Я никак не могу понять сначала. Люди сбились на носу, Дергачев отшвыривает их, а над понтоном вьется гудящее оранжевое облако.

– Отпусти трос! Трос отпусти! – орет Дергачев. Он уже перепрыгнул на понтон и стоит у кнехта.

Бригадир нагнулся к вороту и судорожно возится с тросом.

Наконец понтон отделился от буксира и поплыл по течению. Дергачев забрался на настил, и казалось, будто он вошел в жаркое облако, трепетавшее там. Лишь теперь я понял, что это пламя. Горел порох...

Бригадир бессмысленно улыбался, утирая рукавом нос.

Матрос и два взрывника стояли, прислонившись к рубке.

Николай Нилыч что-то кричал капитану. Я не мог понять слов, хотя был рядом.

Понтон быстро удалялся. Его крутило течением. Он повернулся боком. Там петушиным гребнем цвело пламя и виднелась согнутая фигурка Дергачева.

– Только бы успел... только бы успел... только бы успел... – твердил кто-то.

Дергачев бросил что-то в воду и опять нагнулся к заряду. Наверное, запальники вынимает.

Последнее, что я видел, — он прыгнул с понтона и поплыл саженками по течению. Николай Нилыч рванул меня за плечи и толкнул в каюту. За мной туда влетели взрывники и матрос. Николай Нилыч вошел последним. Губы его дрожали. Он хотел что-то сказать, но слова путались. Его трясло.

За бортом лопнул взрыв. Буксир качнуло, потом что-то тяжело грохнулось и со скрежетом проехало по палубе.

— Д... д.. дурья башка! — выговарил наконец Николай Нилыч, обращаясь к матросу. — Р... разве м... м... можно перед взрывом бросаться в реку! Тебя ж водой раздавило бы, и... п... подлеца! Сразу и не заметил бы ничего, а потом — верная смерть...

Мы вышли наверх. Понтона не было. Вдали, словно бакен, маячил жилет Дергачева. Жив, нет ли?

— Живой, — сказал капитан.

Николай Нилыч покачал головой и промолчал.

На палубе вдоль борта лежала балка с клочьями листового железа — все, что осталось от понтона.

Дергачев выплыл к берегу за избушкой бакенщика. Там мы его и подобрали. Его не контузило и ничем не задело. Он бодро взобрался по трапу.

Оказалось, он не смог опустить заряд под воду и запальники вытащить успел лишь из одного мешка. Когда огонь подошел к патронам, остаток пороха взорвался.

А почему пожар начался? Черт его знает, почему. Порох — капризная штука, своенравная и не всегда понятная. Может,

от проскочившего мимо катера залетела искра, может, еще что... Говорят, случается, ступишь неосторожно – загорится.

Потом «Падун» поднялся к порогу, туда, где у скал приткнулись к берегу две связанные баржи. На них – блок, поднимать затонувшие заряды, в надстройках – жилье взрывников.

Дергачев оставил нас пообедать и ушел в каюту.

На деревянном кнехте сидел Митя. Отсыревший капюшон плаща торчал на голове кулем. Митя отрешенно курил сигарету. Всем видом он хотел показать, что давно кончил работу и ему надоело ждать.

Митя слышал второй взрыв, но ничего не знал о случившемся. Я рассказал. Он усмехнулся и пожал плечами.

– Вам повезло. Прорабу не завидую, – поднялся, бросил окурок за борт и добавил, зевая: – Мы, кажется, приглашены обедать...

Один из рабочих провел нас в столовую – небольшую каюту, почти целиком занятую столом. Чтоб сесть за него, нужно было, согнув колени, вприсядку пробираться между краем и лавкой.

Дергачев явился выбритый, в яркой новой ковбойке. Он принес миску с икрой осетра и достал из кармана бутылку спирта. За ним вошли капитан буксира, механик, матрос и взрывники с понтона.

Дежурный притащил большую кастрюлю лапши и запотевший графин с водой.

Дергачев разлил спирт.

– За то, что живы остались.

После обеда он напомнил Николаю Нилычу о своей просьбе, и мы вышли на палубу.

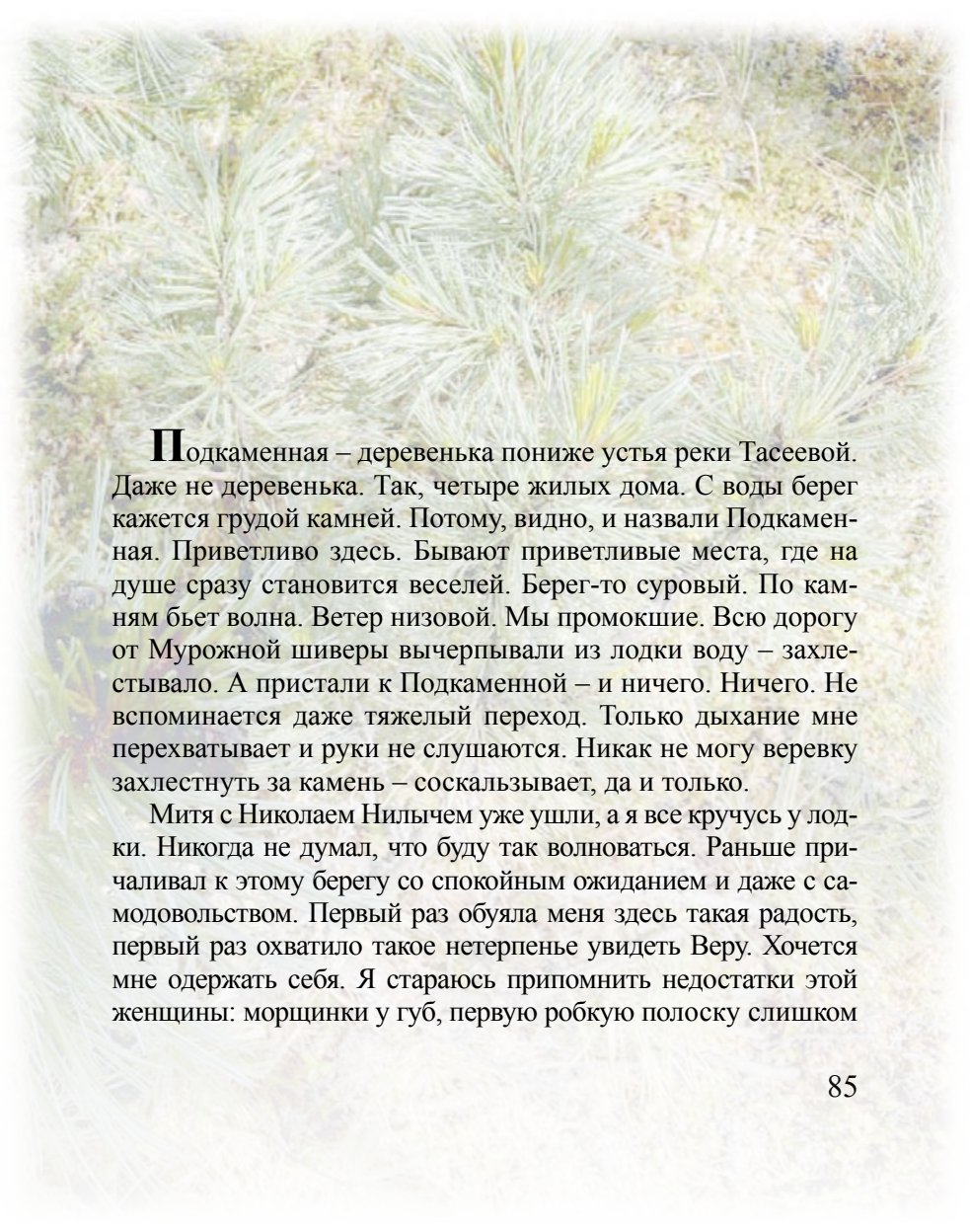
– Вот здесь меня снимите, у «Падуна», – сказал Дергачев.

Вдали, за Мурским порогом, – робкая полоска голубого неба. Серое облако повисло между подножием и вершиной скалы. Оно вытекает из речки Муры и парит над Ангарой. Сырая кисея дождя занавесила противоположный берег. Ее то выдувает парусом до середины реки, то отбрасывает назад. Шум порога лишь оттеняет тишину. Она поднимается ввысь, к вершинам скал, к облаку, повисшему над Мурой.

В этом спокойствии перестаешь верить в недавнее несчастье. Лишь необычно праздничный, гладко выбритый Дергачев напоминает о нем.

Николай Нилыч кончает снимать. Мы собираемся идти к своей лодке. Дергачев попрощался с нами, пошел к каюте, но вернулся, попросил у Николай Нилыча блокнот.

– На всякий случай, – быстро и стеснительно говорит он. – На всякий случай напишу адрес матери. Пошлите карточку прямо ей. И сюда тоже... Но и ей пошлите сами...



**П**одкаменная – деревенька пониже устья реки Тасеевой. Даже не деревенька. Так, четыре жилых дома. С воды берег кажется грудой камней. Потому, видно, и назвали Подкаменная. Приветливо здесь. Бывают приветливые места, где на душе сразу становится веселей. Берег-то суровый. По камням бьет волна. Ветер низовой. Мы промоклие. Всю дорогу от Мурожной шиверы вычерпывали из лодки воду – захлестывало. А пристали к Подкаменной – и ничего. Ничего. Не вспоминается даже тяжелый переход. Только дыхание мне перехватывает и руки не слушаются. Никак не могу веревку захлестнуть за камень – соскальзывает, да и только.

Митя с Николаем Нилычем уже ушли, а я все кручусь у лодки. Никогда не думал, что буду так волноваться. Раньше причаливал к этому берегу со спокойным ожиданием и даже с самодовольством. Первый раз обуяла меня здесь такая радость, первый раз охватило такое нетерпение увидеть Веру. Хочется мне одержать себя. Я стараюсь припомнить недостатки этой женщины: морщинки у губ, первую робкую полосу слишком

рано седеющих волос... Раньше они делали меня сдержанней, но сейчас я убеждаюсь, что это воспоминание не приносит ничего, кроме радости. Я вижу лицо Веры, вижу всю ее, мне нужна она такая, как есть. Я соскучился по ней, истосковался. Все, что казалось недостатком, теперь стало просто одной из черточек, без которых я уже не мог ее представить.

Наконец привязал лодку и почти бегом – навстречу!

Тропка в камнях. Посмотришь – ноги можно поломать, а пойдешь – легко. Кто здесь первым прошел? Так подобрались для шагов места – сапоги сами на них бухаются. Можно не смотреть под ноги и не споткнешься. И я не смотрю под ноги. Радостная, тревожная сила возносит меня на берег. Я вижу избу, в которой живет Вера. Мелькни она – бросился бы бегом.

Знаю – сначала нужно к нам, там собрался весь отряд. Подхожу к дому. В окне Николай Нилыч разговаривает с кем-то, не видно, с кем, – пыльные стекла. Я хочу войти в дом, но у крыльца – Сережка, сын Веры. У него на голове огромный накомарник, до пояса. Не видно ни лица, ни плеч, одни ножки торчат из-под шляпы.

– Здорово, Серьга! – говорю я и заглядываю за сетку. Глаза Веры, ее лоб... И все-таки мне не верится, что она рядом.

Сережка застеснялся, отвернулся. Он узнал меня. Я достал из мешка две длинные конфеты в целлофане. Он высовывает из-под накомарника грязную в цыпках руку, берет конфеты и начинает разворачивать. Мошка облаком вьется над ним. За сеткой он, как в палатке под пологом. Такой маленький таежный человечек...

– Мамка дома? – с трудом спрашиваю я. Голос кажется мне чужим. Серега кивает головой.

Вхожу в тамбур нашего дома, хочу открыть дверь, но не могу. Не могу больше ждать. Не могу быть рядом и не видеть. Бросаю мешок в угол, выскакиваю на улицу, иду к Вериной избе. Николай Нилыч показывает мне из окна кулак. Он все знает. Он осуждает меня. Но сейчас я не думаю ни о чем.

Вера сидит у стола и шьет. Мгновение она не поднимает головы. Я вижу ее спокойный профиль, гладко причесанные волосы.

Второй, трехлетний сын ее, Андрей, спит на нарах. Белое личико на малиновой подушке...

Не могу переступить порог. Вот ведь как – не могу, и все. Раньше смело подходил, а сейчас точно одеревенел. Так вроде бы просто – шагнуть, поздороваться... Но понимаю – нельзя уже по-прежнему, что-то новое цветет и мятется в сердце.

Вера повернулась ко мне и от неожиданности уронила руки на колени:

– Федя... приехал...

Она встала, подалась ко мне... И остановилась. Протяжно, длинно посмотрела... Отвернулась к окну. И, не глядя на меня, звонко, заученно как-то сказала:

– Уходи. Хватит... баловства...

А сама чуть не плачет. Держится за косяк окна, смотрит на улицу.

Так больно резануло меня это «баловство». Очень не то слово, неправильное, плохое, лишнее. Она придумала его в доса-

де, в желании вернуть время, когда мы не знали друг друга. Но разве для нее это было лучшее время? Разве не обрадовалась она только что, когда увидела меня?

Я подошел, Вера отстранила меня, села на пол, спрятала лицо в колени:

– Уходи, уходи, уходи...

Никогда она не встречала меня так. Что-то случилось. Я тихонько вышел из избы.

Мятежно и горько на душе. Все порвалось и растрепалось. Я и раньше понимал, что ей трудно. В моих приездах для нее радости, может, немногим больше, чем горечи, и только из-за этой единственной светлой капли она не прогоняла меня. Я знал про эту каплю и сначала пользовался этим. Понимал, что делаю плохо, и Николай Нилыч с самого начала мне про это говорил...

Но теперь-то ведь все перевернулось, я приехал сам не свой. Такой радости и такой боли никогда еще не было у меня. А она прогнала...

Крутые, густо-синие тучи придавили Ангару, прижали наш дом к черным камням. Тишина, а мне кажется, будто шквально и остро обдирает лицо ветер и мурашки бегают по спине.

Ладно. Пойду. Тяжко, тревожно. И все видится: Вера сидит на полу, уткнувшись лицом в колени.

А там, в камнях, – грибок на тонких ножках, таежный человечек Серьга. Он смотрит на реку, на черную воду, на зеленые острова. По-своему он все знает. Он ревнует мать ко мне, а иногда и ненавидит меня, хотя я никогда ничего пло-

хого ему не сделал. Его маленькие поступки казались мне подтверждением Вериной любви. Было время, когда меня его ревность настораживала больше, чем неожиданная нежность Веры. Я словно влезал в долги, с которыми не мог расплатиться, и мальчишка безошибочно отсчитывал каждую новую сумму.

И вот оказалось, что никаких долгов не было, что я не занимал, а просто становился богатым человеком. И теперь, когда я увидел это богатство, когда понял и оценил его, все разом распалось. Вера не захотела даже смотреть на меня.

Я медленно побрел к берегу. Встал рядом с Сережей, заглянул за сетку. Верины глаза пристально посмотрели на меня, и мальчишка отвернулся. Это была еще капелька горечи.

Я пошел к себе. Рюкзака в тамбуре не оказалось. Знаю – Николай Нилыч унес его в дом.

Из двери ударило сытным теплом. В большой комнате никого. За перегородкой – стук ложек и голоса. Я отодвинул занавеску. Наши все здесь. И незнакомые есть. Хорошо. Николай Нилыч не сможет сразу начать свои наравоучения...

Подсел к столу. И вдруг повариха Зина тащит стакан и наливает до половины водкой. А на обгрызенном блюдечке нарезан лимон. Не маринованный, а живой, свежий лимон. Вот так штука! Небывалый обед. Видно, правда, что кончается сезон... И сжимается сердце. И безнадежно щемит, и больно сосет его мысль о долгой разлуке.

Но пока-то Вера здесь, рядом. Я пойду к ней вечером. Да, обязательно пойду. Тогда все прояснится и развееся.

Мне стало сразу легче. Бывает ведь, что в самую серую и слякотную погоду ветер сдирает облака, засвечивает синее небо и ясную зарю. Так у меня мысль о близости Веры вдруг колыхнула все тепло и всю радость, которые дала мне эта женщина. Сделалось спокойно и звонко, точно в осеннем лесу. Я стал ждать вечера, насыщаясь теплом и обедом, приглядываясь к незнакомым, прислушиваясь к их домашним добрым словам.

Это москвичи-топографы – Кирилл и Юля. У Кирилла желтое лицо с редкой клочковатой бородкой по щекам. Юля – его жена, молоденькая, розовая и тонкая. Где-то я ее видел? Может, на базе, еще на Енисее, весной... Что-то есть в них детское, чистое и наивное. Только еще зацепила их краешком жизнь. Трудности у них пока такие, которые одолеваются крепкими ногами да сильными руками, – трудности таежных переходов, тяжесть речных дорог и выючных троп. Ясная простая тяжесть.

А ведь и я так жил... И все было легко, и не думалось ни о вчерашнем, ни о завтрашнем. Опять я о своем... Голос Юли доносится издалека. Мне нравится сидеть так, слушать ее и Кирилла. Слушать будто птиц, попискивающих в гнезде. И покажется вдруг на мгновение, что все решено, все хорошо и досадные мелочи не могут нарушить покоя. Вот для Юли, например, сапог не нашлось – все велики, и нет на складе маленьких. Так и проходила по болотам да по лесу в кедах, пока мать не прислала из Москвы резиновые по ноге.

Кирилл о другом говорит. Он мечтает, как вернется домой и целую неделю не выйдет из комнаты – будет спать, чай

пить и смотреть телевизор. Очень он любит, оказывается, сидеть в комнате. И тут же договариваются к будущей весне ехать в Саяны, на Енисей. Там, слышно, новую гидростанцию намечают строить и уже начались изыскания...

С небывалым раньше интересом присматриваюсь я к жизни людей, у которых любовь спокойно течет в берегах каждодневности. Она становится привычной, и это, наверное, есть счастье – всегда быть вместе. Его даже не замечают, этого счастья, как не замечают сердца, когда оно здорово, или солнца в ясную погоду...

Вот еще одно счастье. Тут же, в комнате, – сдвинутая к углу двуспальная кровать с помятыми шишками. Она в тени, и я не сразу рассмотрел, кто там. А на ней полулежала женщина и сидел с краешку мужчина. Оба тихие. Ни слова не сказали. Только иногда женщина тихонько смеется. Они играют в карты. Это совсем другая семья, другое счастье.

Мне кажется, что тепло исходит не только от печки, а больше даже от этих незнакомых, незаметных людей, скрытых тенью. Я точно в гостях у них. Пью зеленый чай и слушаю, как они молчат.

Лицо женщины некрасиво, крупно, расплывчато, с выгоревшими ресницами, светлыми прямыми волосами, заплетенными в тощую косицу и закрученными вокруг макушки. Старая вигоневая кофточка едва сходится на ее чересчур полной груди и просвечивает на плечах.

Мужчина сидит на краешке кровати. Примостился очень неудобно и не сдвинется – как примерз. Только пальцы шевелятся, выбирая карту, и улыбается большой безгубый рот.

А глаза смотрят будто бы в карты, но украдкой скользят по лицу женщины и жмурятся, точно от солнца. Он счастлив и ничего кругом не замечает. Счастье мне сейчас таким и представляется – с лицом, где морщины не отличишь от шрамов, так они глубоки, а за их сетью – бесприютная, одинокая жизнь, неожиданно засветившаяся радостью и покоем. Здесь каждая улыбка выстрадана годами безжалостной суровости. Это счастье как награда за прошлое. Оно совсем иное, чем у Кирилла с Юлей. У тех – что-то от рано сорванного яблока, у этих – сочная и трепетная зрелость трудно доставшегося плода.

Неловко, конечно, смотреть на людей, которые заняты самими собой. Все равно что наблюдать в щелку. Но я нечасто гляжу в их сторону. Больше в кружку или в окно. Побывать рядом со счастьем приходится нечасто. И не всякому на нашей работе доводится погреться у двух печек сразу – у одной, что топится дровами, и у другой, которая греет самым нежным и прозрачным человеческим теплом.

В большой комнате за мутным стеклом красно горели от вечернего солнца камни, и сине было на реке, и фиолетовые тучи навалились на берег, скрытый островами.

Николай Нилыч сидел у окна. Он копался в железном ящике с пленками и разными принадлежностями для съемки. Я спросил, не помочь ли ему. Он внимательно посмотрел на меня, словно врач на больного, и покачал головой.

Мне сделалось душно в тепле. Я вышел на крыльцо. Есть радость и наслаждение стоять вот так на ступеньках у двери и знать, что можешь вернуться в дом, когда захочешь.

Только покажется, что резок ветер, хлопнешь дверью – и в тепле. А если дождь – тоже. И если ночь. И если заморозок...

И вдруг за спиной:

– Федя!

Это Николай Нилыч. Сейчас начнет... Я оборачиваюсь и вижу его голубые пронзительные глаза.

– Опять туда? – кивает он в сторону Вериного дома. Я хочу ответить ему порезче, но чувствую, что злобы нет. Николай Нилыч смотрит мне в глаза, смотрит не мигая, будто хочет влезть в мою голову и разобраться, что там творится. Я не отвожу взгляда. Знаю – не влезть ему и не разобраться. Сам не могу ни в чем разобраться...

Вот он говорит: у Веры дети и муж. Верно, дети и муж. Он говорит, что ей мучительно быть в таком двойственном положении. Знаю – мучительно. Он говорит – мои чувства к ней начались случайно. Правильно, случайно. Все, что говорит Николай Нилыч, верно, правильно. И все неверно и неправильно, потому что я люблю Веру.

Жизнь не всегда идет по правильному пути. Это как в маршруте. По карте посмотришь – такая простая верная дорога, а сойдешь на берег – нет никакой дороги. И плутаешь по тайге, ломаешь ноги... Сейчас мне надо бы по правильному-то забыть Веру и не показываться к ней. Но ведь все, что было, нельзя разом выключить, как мотор. Никак нельзя, невозможно. Если б даже меня силком увезли отсюда – все равно вернулся бы, потому что иначе не могу прожить. Прогнала меня Вера, а я приду к ней. Приду. Мне запомнилось, как радостно она метнулась ко мне перед тем

как прогнать. Вся она в этом движении. О нем не расскажешь, а оно для меня и для нее – звонче любых слов.

Понимаю – со стороны все это незаметно. Со стороны тому же Николаю Нилычу видно только то, что называют разными дурными именами. Много напридумано тут названий, но все они сейчас для меня как шелуха. Не пристают они к тому, что растет в душе, отскакивают и падают сухими листьями.

Поэтому мне жаль Николая Нилыча. Я вижу, с каким жаром он осуждает меня, как едко прищурены его резкие глаза, сколько сил он тратит, чтобы переубедить меня, и все это словно не обо мне, а о другом. Тот, другой, поганый человечешка воспользовался моментом, когда бедная женщина осталась одна, соблазнил ее и собирается бросить. А к ней после полевого сезона приедет муж, и не миновать семейного разлада... Как все просто и ясно.

И тут я опять вспомнил, как метнулась ко мне Вера. Стало радостно и тепло, и я засмеялся:

– Не надо больше, Николай Нилыч! Не надо...

Я пошел к сопкам. Туда вела заросшая травой дорога, которую уже начала глотать тайга. Если уходят люди, приходит тайга. Она замечает все следы и все ровняет, как пожар. Было и не было. Съеденные тайгой дороги узнаешь только возле ручьев, где лежат пустые бревна мостов. Они, как люди, эти дороги. И рождаются трудно, и живут нелегко, и умирают. Так же, как людей, их любят и забывают. И очень не просто по ним идти...

Нет грустней картины, чем забытый людской труд. Я как

увиджу хоть зимовье или избу заброшенную – в душе точно заноза. И людей вижу, какие там жили, вижу их руки, вижу пальцы с крепкими ногтями и смоленные мозоли. Вижу их радость быть под крышей. Все это еще теплится в бревнах, в деревянном гвозде, вбитом в стену. А жилья уже нет...

Так я думал, и шел, и смотрел. Кедровки капризно орали вверх, мелькали их хвосты с белыми полосками.

На обратном пути, недалеко от дома, попался мне тот счастливый человек, кто сидел на кровати. Идет, улыбается, от низкого солнышка щурится, курит сигарету. Увидел меня, остановился. И сказал мне таким голосом, точно за три месяца зарплату получил:

– Пойдем, брат, баню истопим. Жена меня попросила баню истопить.

Очень меня потянуло к нему. Хоть побыть с человеком, у которого все так ясно и весело и на уме только милые заботы.

Оказывается, они рабочие – вместе с Кириллом и Юлей лето по тайге пролазили. А в последнем маршруте с его женой случилось несчастье. Несла рейку и в камнях споткнулась, сильно растянула сухожилия на ноге.

Михаил мне потихоньку все это рассказывал. Чувствовал я, что каждое слово о жене он смаковал, перекачивал во рту, как леденец, и мог бы повторить сто раз. Пока не видел ее, только слова о ней у него и оставались. И про костылики мне рассказывал, которые недавно сделал, и про то, как достал карты, чтоб не скучать ей, и про книжки, что раздобыл для нее.

Банька небольшая, рубленая, с копченым оконцем,

с крепким запахом деготька и березового веника. Топится по-черному. Я взялся воду носить, а Михаил дрова колоть. До реки неблизко. Пока я два ведра принес, он горку полееньев наготовил. Сходил я еще раз, а из двери уже белый дым валит, и Михаил появляется, как архангел из облаков – такое у него счастливое лицо. И он будто стесняется этого. Конечно, тяжелый проходит сезон, а он такой счастливый, точно живет на курорте.

– Эх, хорошо дрова занялись! – говорит. – Давай ведра-то, в дым не ходи – глаза выест...

Выхватил у меня ведра и пропал.

Отсюда виден один наш дом. Он врос в камни и траву, и кажется, что у самого крыльца начинается река – лиловая, черная и бесконечная. Темный склон сопки ежится под ветром и ершится лохматыми пихтами, просвечивая кое-где искрами желтеющих берез. Одиноко жилье человека в этих просторах, тронутых лапой осени.

– Домой надо сходить. Может, ей чего надо... – бормочет Михаил...

Ну что ж, пойдем, ходим.

А дома уже сдвинуты раскладушки – все режутся в карты. Митя, как рыба в воде. Любит он карты до смерти.

– Федор! – кричит. – Садись в дурака! Раз сорок, не больше, чтоб голова не болела.

Николай Нилыч весь день перебирает свое хозяйство. Аккуратный человек. Все у него на месте, все завернуто, смазано, вычищено, все готово к делу.

Митя не такой: тяп да ляп. Вещей-то, правда, раз, два

и обчелся, но и они живут по-бросовому. За лето измочалил две пары литых резиновых сапог. И ведь не носил как будто, больше босиком, а уделал в утиль. Ноги у него крепкие, подошвы ременные. Раз мы в лодку грузили две бочки, а в каждой по сто семьдесят кило бензина. Митя босиком в лодке, а мы с Костей-катеристом с берега подаем по вагам. Принимает Митя бочку и вдруг зубами заскрипел и начал ругаться. Посадил ее на место и поднял ногу. Видим – в ступне кусок стекла. Вытащил он осколок – кровь сильно пошла. А он сполоснул ногу в воде, потер о песок.

– Давай вторую закатывай, – говорит, точно ничего не случилось.

И мошка не брала его ноги. А сапоги горели. И молоток постоянно ломался. Один сразу раскололся пополам, а у другого ручка ломалась каждый день.

В карты я не любитель играть. Хотя и высмеивает меня за это Митя, а не люблю – и все, и не играю. Разве что в дожди иногда перекинусь кон-другой... И сейчас отказался. Пристроился на подоконнике, чищу «лягушку». Мы так зовем фильтр насоса, который откачивает из лодки воду. Забило его песком и автолом – совсем не тянет. Приходится банкой отчерпывать.

После нашего разговора Николай Нилыч на меня сердит. Не смотрит. Наверно, очень ему обидно, что я не принимаю его осуждений и делаю по-своему. Он словно не признает разницы между людьми. Сам он никогда не сделал бы того, что я. Даже если бы все совпало так, как у меня. Он сумел бы удержаться от первого шага.

Есть в нем особенная, предельная, безжалостная какая-то чистота. Никогда я не встречал такого прозрачно-ясного человека. Удивительно даже, как мог он сохранить эту ясность в очень трудной своей жизни. Смолоду носит его по самым трудным местам – от южных пустынь до северных необжитых мест, по безлюдным опасным рекам, по кручам и болотам, всю войну провоевал, к старости дело, а он в дороге да в пути... Кто знает, может, эта ясность и помогла ему все пройти? Может, родилась она в нелегкой жизни и пропитала его, как лекарство, предупреждающее болезни?

И он уверился, что только так и можно жить, и хочет, чтоб все, чтоб каждый был безжалостно-требователен к себе.

Но я смутно чувствую иногда, что чистота его и ясность, выращенные на отречении от многого в жизни, пролегают где-то у границы бедности, скудости. А может, наоборот – это особое, недоступное мне богатство? Победа над своими влечениями не всякому дается. Возможно, в ней и есть сила?

Но всегда ли нужна эта победа? Если случайный и поначалу даже неверный шаг неожиданно ведет в глубины людских отношений, открывает тебе невиданное в человеке, привязывает к нему, то не породит ли отказ от этого шага досаду на жизнь, не скажется ли через годы чувством горечи?..

Не знаю. Не могу ответить на вопросы, которые наплывают и тревожат меня сегодня. Да и некогда на них отвечать.

Только занялся я с «лягушкой», в дом ввалилась компания в брезентовых плащах, рогатых от воды, и мокрых сапогах. Вошли, встали у двери. С них мигом натекла лужа. Неуклюжие, словно бы не трое их, а пятеро. Всю комнату заняли.

– Принимайте гостей, – говорят. И толкутся на месте, видно, что от дома отвыкли, давно не были в жилье: тесно им и непривычно.

Это топографы. После нас работали на Гороховой шивере у Ковы, а потом ниже.

Теперь, когда они содрали с себя всю мокредь и разулись, стало видно, что это совсем разные люди. Казались же в плащах одинаковыми.

Первый – коротышка. Парню лет двадцать, а совсем маленький, хоть и плотный и лицо пухлое, телячье.

Второй – высокий и крепкий, с русой бородой, подстриженной кругом и обрезанной, как щетина. Из-под кепки буйно выбиваются волосы и лезут в глаза.

Третий – тоже высокий, но сутулый и лысоватый. У него лицо, точно кирпичная маска, резко отделяется от белого лба и затылка.

Когда Зина подогрела остатки обеда и ребята сели за стол, мы с Михаилом собрали их плащи, сапоги и штаны – потащили в баню сушить.

– Это Валя, моя жена, о них позаботилась, – толковал мне Михаил. – Если б она не велела баньку истопить, как теперь жили-то?

Вернулись домой, ребята уже пообедали. Кирилл зажигает лампу, Юля протирает закопченное стекло, Митя карты раскидывает.

Но игра не вязалась. Дмитрий Иванович, тот, что лысоватый, на середине коня отложил карты, достал папироску и откинулся к стене. Точно обо всем сразу позабыл.

Митя заерепенился: – Что ты? Надо кончить. Зря я трудился – колоду тасовал.

Дмитрий Иванович словно не слышал.

– Кирилл, как сезон-то прошел? – И, не дожидаясь ответа, затыкнулся папиросой. – У нас тяжело-о.

Русый Илья тоже опустил карты.

Розовый Пашка уставился на начальника, ротик кружочком раскрыл.

– Главное – с деньгами хреново, со снабжением... – продолжал Дмитрий Иванович. – К трудностям привыкшие. Но ведь за все лето лишь пару авансов получили, да к концу маленько подбросили. Вот и работай... И бензин получали через пень колоду. Бесхозяйственность в нашей изыскательской партии первосортная! Расскажи кому-нибудь – не поверят. Разве не анекдот – две бочки бензина привезли нам с Енисея за шестьсот километров на двадцатитонной самоходке! Я как увидел такое внимание, чуть не заплакал. Ведь здесь, в Богучанах, нефтебаза. Надо немножко подумать и завести для нашего дальнего участка один катер. Будет он возить бензин не дальше чем за сто километров. Думать, что ль, нечем... Две бочки за шестьсот верст тянут на самоходке!

Дмитрий Иванович прикурил от лампы погасшую папироску.

– И отношение... как к бедным родственникам. Вот обратно добираемся. Стыдно ведь! Как нищие или воры. Да. Пришлось воровать, что ж поделаешь. У своих воровали. Сначала за Христа ради ехали. Где ведро выпросим бензина, где

солярки банку. Измучились. Добрались до Кодинской заимки. Ну, думаем, теперь горя мало – здесь свои. Сошли на берег, видим – склад наш. Емкость пустая, бочки тоже пустые. Покрутили, оказалось две полных. Идем к Филиппову. Так и так, мол, давай бензину. Работу кончили, возвращаемся на Енисей.

– Сам, – отвечает, – сию без бензина. Скоро должны подбросить. Обождите денька три.

Вот так расчет – денька три! Они и неделей обернутся. Нет, уж, думаю, дорогой, сам жди. Не днями тут пахнет. С чего бы среди пустых бочек прятать полные, если бензин к тебе уже плывет?

И ведь не домой мы спешим на Енисей. Нам еще на Осиновский створ добираться – там срочная работа.

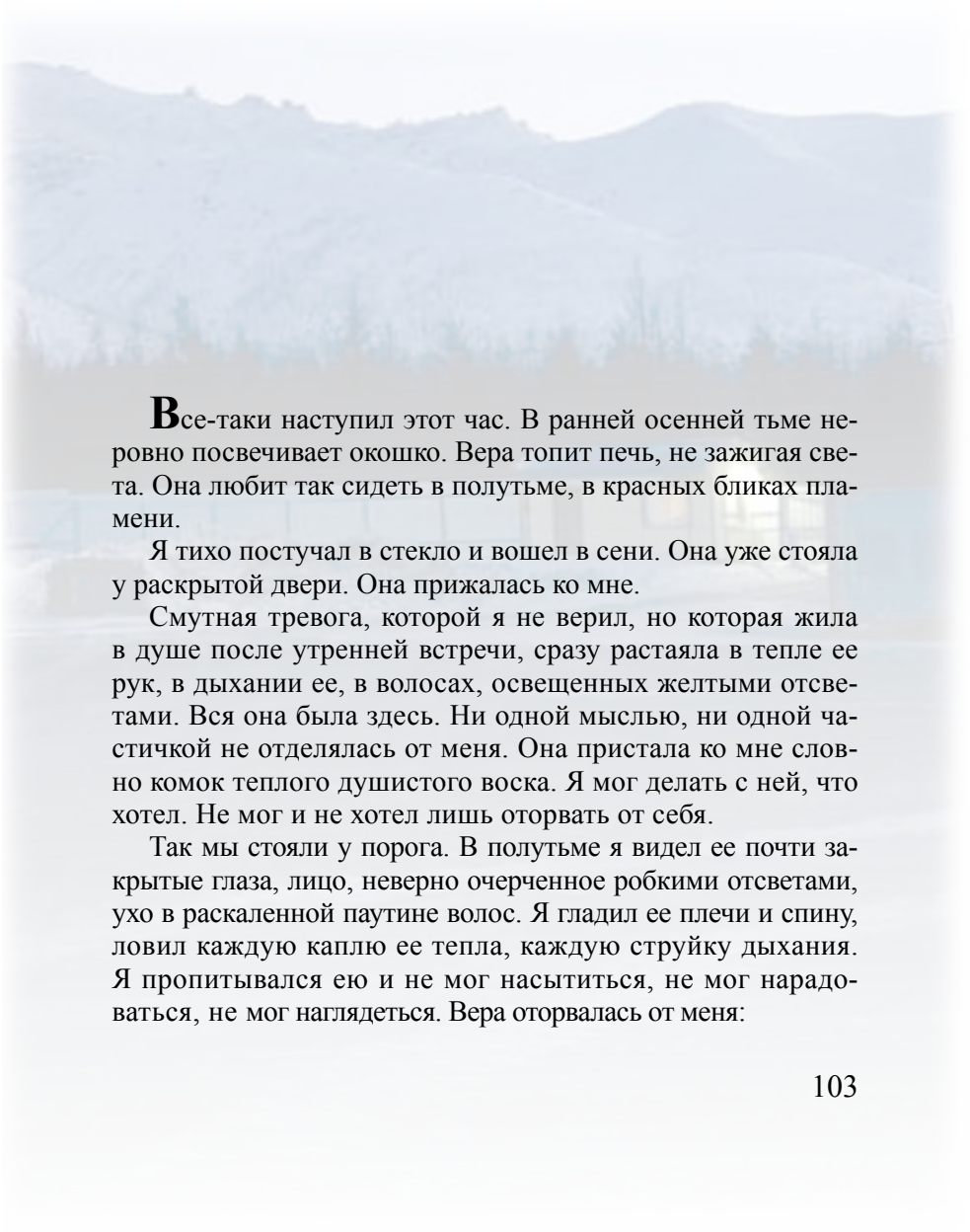
Ладно. Легли спать, а утром, не светало, я ребят разбудил и потихоньку – на берег. Открыли бочку, набрали канистру, бачки да ведро. С тем и приехали.

– А у вас ведерка не найдется для нас? Поделитесь?.. Желто светит лампа. От нее лица кажутся латунными. У Дмитрия Иваныча лоб и залысины стали еще белей. Я смотрю на него и думаю о великом бескорыстии, о необъяснимой любви к трудной ЖИЗНИ таежного бродяги, о неизбывной беспечности умудренного человека. Он знает – без него ничего не начнешь на створах будущей плотины. И он делает свое дело. Он живет впроголодь, он ругает дураков, которым тепло на базе, он побирается бензином у бакенщиков, но упорно делает свое дело. Безвестный, пробирается он по реке, по тайге, по скалам...

Он будет за тридевять земель, когда здесь начнут строить плотину и станут сверяться с картой, на которую он нанес главные точки. Без них нельзя ни проект составлять, ни работать. Но ни крупицы славы не достанется ему. И это его нисколько не огорчает. Не нужна ему никакая слава. Скажи ему о ней – отмахнется и всерьез не примет.

Он будет где-нибудь на полярном Енисее или на Лене, где в июле еще снег на берегах и незаходящее солнце не может развеять низкие облака. Он развернет случайно оказавшуюся газету и увидит снимок великой плотины, о которой знает весь мир. И на этом снимке – сосенка, приросшая к крутой скале, смутно видна на изжеванной бумаге. А ведь он первым стоял у этой сосны и отыскал там крохотную площадку для теодолита.

Потом он вырвет фотографию и спрячет в полевую сумку, где лежит карта с точками для будущей плотины.



**В**се-таки наступил этот час. В ранней осенней тьме неровно посвечивает окошко. Вера топит печь, не зажигая света. Она любит так сидеть в полутьме, в красных бликах пламени.

Я тихо постучал в стекло и вошел в сени. Она уже стояла у раскрытой двери. Она прижалась ко мне.

Смутная тревога, которой я не верил, но которая жила в душе после утренней встречи, сразу растаяла в тепле ее рук, в дыхании ее, в волосах, освещенных желтыми отсветами. Вся она была здесь. Ни одной мыслью, ни одной частичкой не отделялась от меня. Она пристала ко мне словно комок теплого душистого воска. Я мог делать с ней, что хотел. Не мог и не хотел лишь оторвать от себя.

Так мы стояли у порога. В полутьме я видел ее почти закрытые глаза, лицо, неверно очерченное робкими отсветами, ухо в раскаленной паутине волос. Я гладил ее плечи и спину, ловил каждую каплю ее тепла, каждую струйку дыхания. Я пропитывался ею и не мог насытиться, не мог нарадоваться, не мог наглядеться. Вера оторвалась от меня:

– Иди в дом. Не стой на холоде. Удивительно уживаются в ней самозабвение и трезвость. Я простоял бы в дверях час и больше и не подумал бы никуда идти, если б она не позвала.

Печурка из железной бочки румянилась красными пятнами. Ребята спали за перегородкой на нарах, укрывшись трепаным зеленым одеялом. Серьга дышал в затылок Андрею.

– Давай ужинать, – сказала Вера.

И все мне не верилось, что она рядом. Я очень мешал ей. Я держал ее руки в своих, когда она ставила сковородку, я прижимался щекой к ее уху, когда она долбила кашу ложкой, я шел за ней шаг в шаг к полке за солью, в сени за пучком черемши. Я не мог оторваться от нее ни на минуту. И она не отстраняла меня, только тихо смеялась и иногда, отвернувшись от печки, дотрагивалась губами до моих губ.

Было легко, весело, звонко. Мы были одни. Мы были очень нужны друг другу. Мы ничего не помнили и не вспоминали сейчас. Мы радовались. Просто радовались. Да, радовались близости.

Почему так настороженны и недоверчивы люди к этой близости? Чем она мешает тому же Николаю Нилычу? Почему мы должны ее остерегаться? Что-то есть в такой настороженности от надуманных сухих церковных сказок, от костяного перста, указующего, что можно и что нельзя. Почему нас нужно учить, как вести себя? Мы сами знаем цену горю и радости. Почему же радость нужно гнать, если она пришла не вовремя? Да и почему не вовремя? Разве для нее есть расписание?

Я люблю смотреть, как Вера собирает на стол. И нечего ведь собирать. Но как-то очень аккуратно, заботливо режет она черемшу на дощечке, ставит сковороду, наклонившись к свету, осматривает ложки и споласкивает в миске с водой.

Она ко всему внимательна и очень внимательна ко мне. Из-за меня затеяла всю эту колготню с ужином. Я совсем не голоден, но не стал ее отговаривать, чтобы только посмотреть, как она готовит.

Это радость – смотреть на нее за ужином. Мне нравится в ней все – каждое движение, каждая черточка. Я не притронулся к еде, лишь смотрю, как плавно проводит Вера ложкой, берет ровно столько, чтоб положить в рот, почти не раскрывая губ. Смотрю на изгиб ее руки и плеча, на профиль, скользящий по стене, покрытой витьем из огненных бликов.

Она заставляет меня есть, а я не могу. Чтоб успокоить ее, жую стебелек черемши. Вера очень проголодалась. Я вижу. Ей достается с ребятами. Целый день с утра до ночи, недели и месяцы в этой избушке. Только и развлечения – по ягоды и по грибы да иногда, как праздник, на лодке в соседний поселок, в магазин. Поставлю себя на ее место – страшно и тоскливо. Потому, наверно, и прильнула она ко мне, что в невыразимой одинаковости дней не могла больше оставаться одна.

Упрекают ее, что она изменила мужу. А разве можно это назвать таким словом? От него больше чем по полгоду нет никаких вестей. И так пятый год... Из скудных Вериных рассказов о нем знаю, что дома он лишь зимой, и то не всегда. С годами, с долгими разлуками перемешались,

перетасовались чувства, ускользнуло что-то, что связывает. И он спокоен. Ему-то не так одиноко. Мужчинам, конечно, не так одиноко. Вера знала, то ли почувствовала, что он там не один. А ей больно и безнадежно. И все-таки она любит его. Да, любит. Я знаю, что любит. Или мне так кажется?..

Бывает, посмотришь – совсем она молодая, а то вдруг резче станут морщинки у глаз и губ, слабее движения, заметней светлая полоска в волосах. Так скудно одарила ее радостью жизнь, так щедро наградила печалью и одиночеством.

– Почему нас так притягивает? – шепчет Вера. – Никто мне больше не нужен, только ты.

Разве может кто-нибудь ответить на этот вопрос? Я слышу, как бьется ее сердце, вбираю ее тепло. Я не задумываюсь, почему так. Я даже не знаю, как это все назвать. Слово «любовь» кажется маленьким и затертым. Его так измывали, засюсюкали и запели, что сейчас, здесь оно не у места. Не могу я назвать любовью эти минуты. Это жизнь. Просто жизнь. Да, жизнь и только, потому что иначе мы не можем.

Мы смотрим на потолок. Красная перевить бликов бледнеет, и темнота крадется из углов.

Вера осторожно высвободила руку из моих рук и отодвинулась.

– Павел вчера прислал перевод. И я прогнала тебя. Она прижала к груди мою голову. Она гладила мое плечо. Она успокаивала меня, как ребенка. При мне она редко вспоминала мужа. Но я помню каждое ее слово о нем – так мне тяжело в эти минуты. Чувство двойственности, двусмысленности, вины перед незнакомым человеком бережит сердце.

Я понимаю, что Вера не моя, и это горько. – Почему мы так поздно встретились, – говорит она, и в голосе ее нет вопроса – только сожаление.

– Где он?

– Не знаю. Не написал.

Смутно и глубоко, так, что не разобрать, не понять еще, клубится в груди у меня даже не мысль, а чувство, смутная догадка, что нам надо остаться вместе надолго. Я ничего не говорю Вере, но все чаще прислушиваюсь к невнятному голосу, рожденному тоской по этой женщине. Ее наивные и ясные намеки я слышал не раз. Когда-то они настораживали, но теперь я знал, что ничего, кроме откровенного желания быть со мной, за ними не скрывалось. И все же до сих пор я лишь ощупью, смутно подходил к тому, чего Вера желала ясно и открыто.

Она поднялась на локтях и смотрела на меня. Протяжно смотрела. Она вся сгустилась в этом взгляде, вся вобралась в него. Неверная тьма скрывала ее глаза, но взгляд я чувствовал. Спокойная радость и тревожное тепло входили в меня. Я боялся спугнуть этот взгляд, не решался пошевелиться, опасался вздохнуть. В печке вспыхнули головни, и на мгновение дрожащий свет прикоснулся к ее лицу. Она закрыла глаза. Потом в угольной тьме я долго видел ее, омытую замирающим пламенем.

Я закопался в ее волосы, закрылся ее руками, а в памяти было торжествующее и усталое лицо, отлитое из неожиданного всплеска огня.

Вера жалела, что мы не встретились раньше. А я не знаю,

могло ли случиться все это раньше. Пожалуй, нет. Ведь меня привязывает к ней ее горькая умудренность, ее трудная ноша, ее колдобистые дороги. Будь она зеленой девчонкой, не захватилось бы сердце, не привязалось бы к ней, не приросло бы. Нет, не приросло бы так.

Вот поэтому-то еще я и думаю, что это не любовь. То в юности, когда не ясно, чего хочешь, когда розовый туман вместо будущего и будущее рисуется бесформенным облаком, которое по желанию меняет очертания. Сейчас другое. Жизнь видится такой, как есть, резко и четко, без дымки. Даже неопределенность стала в ней трезвой деталью, о которой всегда помнишь.

Мне кажется иногда, что с годами жизнь обнажается, с нее сходят все покровы, ты начинаешь видеть ее тело, ее кожу, потом видишь нервы и кости, на которых все держится и которые всем управляют. Становятся понятны причины, концы и начала. Но это знание не отвращает от жизни. Оно ведет тебя все дальше и глубже.

И встречаешь женщину, которая тоже видит все, как и ты. И нет уже тайны в отношениях, нет юношеской серебряной туманности, нет облака, из которого воображение лепит по своему произволу, что захочет. Нет ничего от любви, про которую столько наговорено. Но есть сходство судеб и нелегкое влечение нашедших друг друга людей. В этом своя поэзия, со своим безрассудством и радостью, но отягченная беспощадным знанием начал и концов.



**К**ак тягостно и тревожно прощанье. А прощаемся мы второй раз. Первое было ранним утром, в серой мгле холодных сеней. От него и сейчас щемит в груди. И помнится лишь ее лицо, туманно-бледное, с неясной тенью под бровями; неотрывно смотрящие на меня глаза; губы, чуть приоткрытые от волнения; смятые волосы, упавшие на плечо. А я ухожу. Ухожу. Ухожу. Вера прижалась лицом к моей груди, прижалась ухом к сердцу и слушала его стук. Все слушала, слушала... И потом поцеловала рубаху у сердца. Да, поцеловала меня в сердце. И теперь я не помню ни одного ее поцелуя, кроме этого – в сердце.

И вот второе прощанье. Мы далеко друг от друга. Я опускаю мотор в воду и оглядываюсь на берег. Там, на камнях, в небе с прорезями осенней синевы, стоит Вера. И Сergyа стоит в своем накомарнике, и Андрей прижался к ноге матери. Стоят и еще люди, но я никого больше не вижу. Только Веру вижу на черных камнях, на осенних облаках, на зеленоватом льдинистом небе. Только вижу, как смотрит она на меня и ветер относит прядь волос.

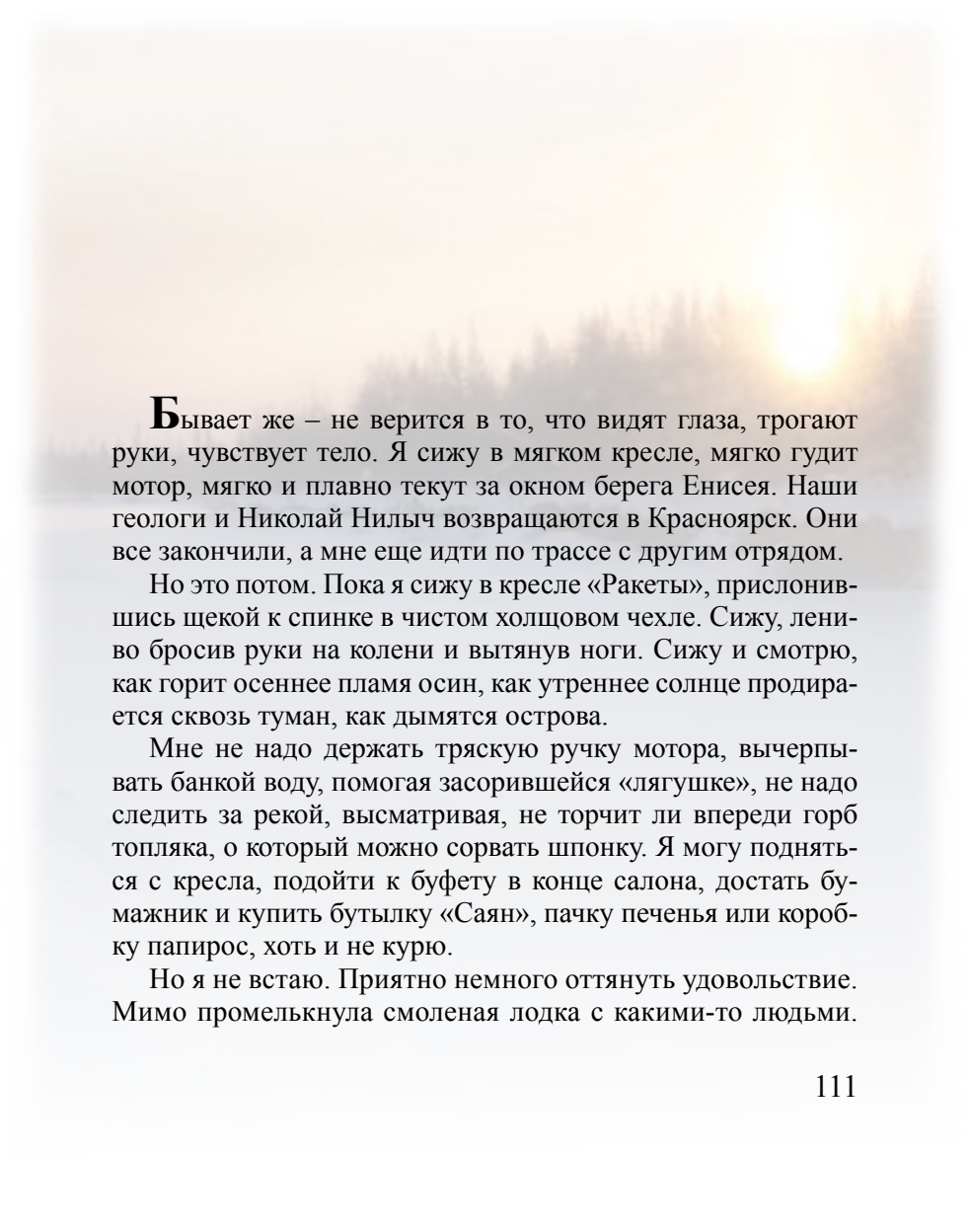
Мы должны отвалить первыми. Я рванул за шнур. Мотор задрожал, и булькнула под винтом вода. И только на мгновение смог я обернуться к берегу. Вера все стояла, прижав руку к груди. И сыновья стояли около нее, а за ее спиной вверх по Ангаре тащились облака.

Она пришла меня проводить. Все знали, что она провожает меня. Все осуждали ее и говорили о ней плохо, а она пришла.

Не знаю, что будет. Знаю только, что эта ее смелость, так же как поцелуй в сердце, останется со мной.

Шлепко бьет по борту крупная зыбь, холодные брызги заносит в лицо. Беспощадной ясности даль смотрит в глаза. Ярко горят в тайге первые факелы осин.

Я оборачиваюсь, и все виднеется фигурка Веры на черном берегу, а ребятишек уже не видно.



**Б**ывает же — не верится в то, что видят глаза, трогают руки, чувствует тело. Я сижу в мягком кресле, мягко гудит мотор, мягко и плавно текут за окном берега Енисея. Наши геологи и Николай Нилыч возвращаются в Красноярск. Они все закончили, а мне еще идти по трассе с другим отрядом.

Но это потом. Пока я сижу в кресле «Ракеты», прислонившись щекой к спинке в чистом холщовом чехле. Сажу, лениво бросив руки на колени и вытянув ноги. Сажу и смотрю, как горит осеннее пламя осин, как утреннее солнце продирается сквозь туман, как дымятся острова.

Мне не надо держать тряскую ручку мотора, вычерпывать банкой воду, помогая засорившейся «лягушке», не надо следить за рекой, высматривая, не торчит ли впереди горб топляка, о который можно сорвать шпонку. Я могу подняться с кресла, подойти к буфету в конце салона, достать буфетник и купить бутылку «Саян», пачку печенья или коробку папирос, хоть и не курю.

Но я не встаю. Приятно немного оттянуть удовольствие. Мимо промелькнула смоленая лодка с какими-то людьми.

Я с наслаждением покрутился немного в кресле, чтоб лучше почувствовать разницу между жесткой скамейкой и мягкостью моего сиденья.

Пристали к дебаркадеру. Народу садится мало. Стюардесса ведет по ковру старушку. Та ступает боязливо, точно ручей переходит по льду.

– Стара я, дочка, на ракетах летать. Мне бы на простом пароходе... Обманули в кассе, никогда б я на «Ракету» не взяла. Теперь-то что поделаешь. Придется лететь.

Стюардесса хорошенькая, пухленькая, завитая, напомаженная, бровки подщипаны:

– Сядьте в кресло, бабушка, и никогда на пароход не захотите.

Очень внимательная девушка. Даже у меня спросила, как я себя чувствую. А старушку быстро определила к нашим ребятам, которые дулись в карты. Та оказалась любительницей, хоть и пришлось надеть очки. Разошлась бабка – попросила подать «Саяны».

Тогда и я не утерпел. Купил бутылку, печенье и папиросы. Угостил стюардессу – она же за буфетчицу. Не отказалась и не смутилась. Видно, что давно на людях.

Девушка-то, оказывается, издалека, из-под Ленинграда сюда забралась. Кончила курсы медсестер и решила совершить подвиг. Так мне и сказала – «совершить подвиг». Сначала разнорабочей устроилась на Красноярскую ГЭС, потом перешла на стройку железной дороги Ачинск – Абалаково, и тоже разнорабочей.

Поглядеть на ее маникюр да завитушки – не поверишь, а по

глазам и по голосу поймешь, что была. Чуешь ведь человека.

Болтаем с ней. Вторую бутылку «Саян» начали. Кроме этого напитка, здесь ничего держать не положено. А «Ракета» вошла в Казачинский порог. Почти он незаметен. Правда, несколько раз сильно долбанулись крыльями о валы – дрожь по всему корпусу.

– Представляете, в Енисейске простояли три часа из-за тумана! – говорит стюардесса.

– Курите? – открыл я «Казбек».

– Не курю. А если вы хотите, идите на палубу. В салоне не курят.

И дальше мне рассказывает, что пять лет проработала на стройках и захотелось в городе пожить. Устроилась в Красноярске в каком-то управлении. И объявили набор в стюардессы. Теперь – на реке.

Так мы пили газированную воду «Саяны» и разговаривали. И через все разговоры, через все пути тянется теперь мысль о Вере. Будто живу я разом в двух местах, будто два сердца в груди и две головы на плечах. О чем бы ни думала одна голова, как бы ни волновалась одно сердце, вторая голова и второе сердце всегда полны Верой. Всегда. Всегда в них память или мечта. Я так глубоко погружаюсь в них, что забываю о реальности. Вот сейчас что-то говорит мне стюардесса, рассказывает, а я очутился в темных сенях, и Вера прощально целует меня в сердце, и стоит на каменистом берегу, и осенней прозеленью светится над ней небо...

Сколько мы едем, а я никак не могу покинуть дальний

тот берег, почерневшую избушку. Все крадусь потихоньку и заглядываю в оконце и вижу Веру. Не лицо ее, не глаза, не волосы – осеннее радостное тепло, чуткую настороженную внимательность ко мне, трепетность ее вижу я за мутным стеклом.

А «Ракета» летит по реке сквозь мокрое сито дождя, сквозь солнечные блики, сквозь дали.



**В** Красноярске мне начальство наказало пробить не больше дня. По пустяковому делу ездил – взять какой-то пакет и привезти на базу. Но пакет еще не был готов. Я знал, что вовремя его в экспедиции не подготовят, поэтому и вызвался ехать в город. Хотелось немного побродить там перед последним тяжелым маршрутом.

Ночевали в гостинице на дебаркадере. Это рядом с речным вокзалом. Всю ночь покачивало и скрипели мостки. Утром геологи и Николай Нилыч уезжали в Москву. Они как-то сразу отделились от меня. Еще вечером были все вместе, а сегодня у них свои разговоры. Конечно, зачем я теперь им нужен. Немножко обидно, немножко грустно и немного тревожно почему-то.

Подозвал меня Николай Нилыч. Вспомнил ведь! А я уж собирался ускользнуть незаметно. Времени и слов он тратить не любил. Только вскинул на меня голубые выгоревшие глаза и сжал руку повыше локтя. Потом достал из полевой

сумки почтовый конверт.

– Возьми на память. Это негативы. Отдашь в фотоаппарату, напечатают карточки.

Трогательный старик. Хотя и жучил меня, а всегда таил строгую доброту и внимательность.

Взял я конверт, и тут он совсем меня доконал – потихоньку, чтоб никто не слышал, добавил:

– Там есть снимок Веры...

И разом завихрились, захватили, захлестнули воспоминания. И руки так неловко удерживают конверт. И не знаю я, куда его спрятать и что сказать Николаю Нилычу.

Он, не мигая, смотрит мне в глаза. Обветренное лицо его с белыми бровями кажется даже мечтательным. Что-то мягкое и знакомое в нем...

– Видно, не переделаешь тебя, – тихо сказал Николай Нилыч. – Живи, как знаешь. У вас и вправду что-то серьезное...

Все уже собрались. Он пожал мне руку, схватил рюкзак и пошел.

Вот и остался от нашего отряда я один. Я присел на койку. Черные кусочки пленки рассыпались по подушке. Я сразу угадал, где Вера. Сразу, без ошибки.

Эх, помню я тот день. Летом еще, в июне... Мы работали на тасеевском створе, а к вечеру пришли в Подкаменную. На неделю было дел в округе – по берегам и мелким притокам Ангары. Расположились в нашем доме. Втроем. Насчет завтрака и ужина решили договориться с местными. Пошли к соседней избушке – там у двери стояла молодая женщина и мальчишка в накомарнике до колен.

– Что за таежник, прелесть! – схватился Николай Нилыч за аппарат. И сделал тогда этот снимок.

Вера смутилась от неожиданности. Была она в зеленой энцефалитке с откинутым капюшоном, и мы приняли ее за геологиню. И она еще больше смутилась.

Да, тогда был ветер и волосы ее сбило на сторону. Такие упругие, густые, русые волосы. И в них тонкая строчка седины. Она поправляла их ладонью. Так и осталась на фотографии.

Она сразу согласилась готовить для нас, с радостью, с нескрываемой горячностью истосковавшегося по людям человека.

Первый раз я тогда ее увидел. Первый раз.

Как это все умещается в таком маленьком кусочке пленки? Я быстро собрал негативы и пошел в фотографию. Боялся – не возьмут. На счастье, взяли сразу. Хороший попался парень – не отказал. Вот подарок так подарок сделал мне Николай Нилыч. Никогда такого не ждал. Вышел из фотографии, как очумелый. Встал у входа и не знаю, что делать. Нeskоро вспомнил о своем намерении навестить сегодня давнего друга Василия, съездить к нему в Дивногорск.

День разгорался ясный и тихий. Синеватый туман заливал берега. Арка нового, не достроенного еще моста плавилась в далекой дымке. Через Енисей я перебрался по понтонному мосту. Под настилом шипела зеленая вода. Почти сплошняком тянулись машины. Гремели и выгибались под ногами доски. Я заглядывал в кабины грузовиков, думал – случайно встречу Василия, может, он зачем ездил в Красно-

ярк.

За Енисеем, по тропке, пробитой в песчаной насыпи, поднялся на новый мост и пошел к остановке. Отсюда город видится, как сквозь фиолетовую воду.

В автобусе стекла точно подкрашены синькой – такие в них дали налиты. Плавно качаются отроги Саян. Они одеты в старую медвежью шкуру, пропоротую ребрами скал. Деревья, опаленные осенью, сливаются в цветные пятна. Словно проступили сквозь склоны гор все богатства земли: позеленевшие пластины меди, слитки золота, ржавые куски железа и пепельные наплывы свинца. А внизу Енисей отсвечивает бледным малахитом.

На шоссе кучи щебня и песка. Машины, огромные, как древние ящеры, скребут землю и камень.

В Дивногорске от остановки вверх по склону, поросшему березой и осиной, жметя деревянная лестница. Она вроде улочки между нижним и верхним городом. Эта лестница точно где-нибудь в парке. К сырым ступенькам прилипли желтые листья. За перилами – низкорослая тайга. А по лестнице идут совсем городские люди.

Растолковали прохожие, как добраться по моему адресу. Это повыше улицы, которую только начали строить. У Василия на втором этаже отдельная квартирка. Открыла жена. Белая-пребелая: лицо белое, руки белые, волосы и ресницы тоже белые. Она тягуче говорила мне:

– Сойдешь на шоссе, проголосуешь и доедешь до моста. За мостом по правую руку – съезд. По съезду поднимешься на карьер. Он как раз напротив котлована. Посто-

ишь у экскаватора и дождешься Василия. Хотел я идти, но она не отпустила.

– Куда ж ты? Ребятишек-то наших не поглядел! Василий тебя сразу спросит: «Ребятишек-то видел?»

У них двойняшки. Я и не знал. Лежат в широкой коляске. Спят. Белые, розовые, курносые и пахнут молоком. А над ними окно и сине-золотые горы за Енисеем.

Но я вижу не этих одинаковых мальчишек. Вижу Серьгу, прижавшегося к ноге матери. Вижу Андрея на руках у Веры. Пронзительная, трудная тоска в который раз прокалывает сердце. Что сейчас в Подкаменной? Солнце, как тут, дождь ли за окном, или пасмурный ветер? Может, слабенький Андрей опять заболел и нудно долго плачет, и Вера не может его успокоить... Там открылся мне великий труд этой женщины. Однообразный, тяжелый, выматывающий труд – ухаживать за детьми.

Сейчас она стирает или штопает, или шьет, или варит обед, и сырые дрова дымят, и дым ест глаза. И так день за днем. Раньше я думал – это мелочи. Близость с Верой все показала по-иному. Помню ее усталую, побледневшую после трудного дня. Выдаются такие особенно тяжелые дни, когда нельзя присесть даже за обедом. А я вернулся из маршрута со скал, и мне неловко перед ней и перед собой, что я устал меньше ее. Вот тогда, наверное, и проснулось удивление перед Верой. Я понял причину и цену ранней седины в ее волосах, коротких и пугливых морщинок у губ. Да, понял, и от этого лист за листом, чешуйка за чешуйкой облетало все легкомысленное и ветреное в моем к ней отношении.

И когда осыпалась вся эта первоначальная шелуха, я понял, какими цепкими корнями приросло сердце к Вере.

Я шел на карьер, а думал о ней. И не замечал ничего вокруг, и голосовать грузовикам не стал. Опомнился, когда миновал город. Только тогда увидел, где я.

Шоссе, чем ближе к стройке, тем гуще покрыто жидкой глиной. Справа, у причала – носатые краны, слева – сплошное месиво развороченной земли, из которой поднимаются кирпичные стены и каркасы зданий.

У въезда на мост дощатый щит: «Осторожно – свежий бетон!» И свежий ветер с реки, и свежо дышится. Отсюда уже виден котлован. Он выходит до середины Енисея и курится пылью, как огромный котел. Дороги тоже дымятся. Зеленая вода плоскими волокнами слоится внизу и пестрит рябью. Из водоворота торчат верхняя надстройка и труба затонувшего буксира.

На том берегу дорога приклеилась к отвесным скалам. Далеко идти. Когда своими ногами померишь, поймешь, что за громадина эта стройка.

Отвод от шоссе вправо. Тут долина между скал. Березняк да пыльные кусты. Кажется, дорога уходит от Енисея и никогда к нему не вернется. Но там, дальше, – крутой поворот и начало подъема на верхний карьер. Дохнул синим перегазом встречный КрАЗ. В кузове с крепким козырьком, нахлобученным на кабину, – обломки гранита.

Под сапогами – гравий. Все ниже зеленый Енисей. Небо задернуто чуть заметной белесой пеленой. Здесь, в долине, ветра нет, и солнце припекает по-осеннему приветливо. Вот

и карьер. В конце его экскаватор ворошит кучу камней и бросает обломки в кузов грузовика. В очереди несколько машин. Шоферы курят у края обрыва и смотрят на котлован. Василия среди них нет.

Котлован, врезанный в реку рыжей рамой перемычек, шевелится и дышит. Там, среди взрытой земли, камней и пятен воды, различаются только несколько серых бетонных прямоугольников. Слева ряж, на нем белое одноэтажное здание, справа торчит желтый частокол опалубки. Машины и люди кажутся отсюда совсем маленькими, и не верится, что это они перегородили до середины Енисей и могут поднять против него плотину.

Василий сначала не узнал меня. Подошел, прикурил у одного из шоферов. Он мало изменился за эти годы. Такой же курносый, веснушчатый. Только стал еще плотней и увалистей, и свою мятую кепку заменил беретом. Он встал рядом со мной, не обращая внимания на давнего друга. Меня кольнула обида, но я вовремя вспомнил про бороду. Черт тебя в ней узнает!

– Васятка, – тихо позвал я. Теперь никто уж его так не звал.

Он недоверчиво оглянулся. Его обшелушившиеся губы, выгоревшие брови и серые глаза – все слилось в улыбку.

– Федька... – выдохнул он, и голос его сорвался. Мы обнялись. Удивленные шоферы забыли про свои папироски, окружили нас, заулыбались, засмеялись.

– Ну как, ребятишек моих видел? – спросил Василий.

– Понравились?

И вот мы сидим в просторной кабине. Василий разговаривает со мной и, словно между делом, управляет с КрАЗом. Подогнав под ковш, откинулся к спинке, положил мне руку на плечо. Экскаватор заревел, как самолет, отрывающийся от земли. В кузов грохнулся ковш камня. Машина присела, задрожала. Сейчас, когда заныли пружины сиденья и нас прижало к спинке, всем телом понимаешь огромность труда, пересиливающего Енисей. И во взгляде Василия, в повороте головы, вылепленной из тусклого света, которым сочится окошечко кузова, чувствуется мне что-то незнакомое. Да, совсем я одичал в тайге, совсем не думал о том, зачем лазим мы по реке и лесам, что ищем и для чего...

Когда отъезжаем, Василий показывает мне березку, зацепившуюся корнями за край обрыва. Плотина пройдет верхним гребнем как раз по ее вершине. Сто шесть метров в небо!

Василий щурится, я вижу морщины у него на лбу и думаю о времени. Оно идет, отмеряя годы этими вот глыбами гранита, ростом детей и плотин. Заведены огромные часы, мы сами двигаем их колеса, которые скрипят и с трудом поддаются усилиям, поэтому некогда бывает посмотреть на стрелки. Но когда выберешься посмотреть, замечаешь всю нехватность трудов, и скрип колес забывается.

И Василий о том же говорит по-своему:

– Пришла же кому-то в башку мысль перегородить Енисей... Мне б никогда не пришла. Но нравится такая-то широта. Уж если сам ничего придумать не могу, хоть рядом потереться с людьми, которые такое чудо строят.

Не отрываясь от дороги, Василий мельком скосил на меня

глаза:

– Чего бороду-то отпустил? От мошки, что ль?

– Так...

– Да борода, черт ее драл... Тоже в ней есть какая-то загогулина! Вот посмотрел я на тебя и не узнал, а подумал: «Таежник затесался, геолог». У вас такая мода, наверно, чтоб с бородой? Ну и хорошо, чудите, ребята! Без этого разве можно! – и выплюнул в окно окурок.

Настал обеденный перерыв. Пошли в столовую. Дорога прокатана по левой перемышке и ведет до углового ряжа. Ряж этот построен для укрепления всей дамбы, отгородившей котлован от реки. С дороги его не заметно. Только если вниз помотришь, увидишь, что высотой он с десятиэтажный дом. Один конец ряжа вдается в Енисей, и на нем – столовая. Можно подумать, что для столовой сгромоzdили такую подставку.

Местечко мы выбрали у окна. Рисуются за ним горы и зелено-синий шлиф Енисея. А еда обычная, столовская. Василий набрал самого дорогого, но ведь эти изделия ценой мерить нельзя, они вроде рыбных консервов: надписи на банках разные, а вкус один. Да и не в них дело. Мне, например, очень понравилось, как Василий назвал меню. «Кормовая ведомость», – говорит.

Едва принялись за борщ, Василий увидел знакомого, окликнул и, пока тот пробирался к нам со своим подносом, сказал:

– Это бродяга вроде тебя. С весны мотается, ужасу натерпелся, чуть не погиб. Сейчас у нас работает перфораторщиком.

Парень поставил поднос на столик. Был он серьезен и неразговорчив. Брезентовая пыльная куртка и штаны сидели на нем нескладно, но это, видно, несколько его не тревожило. Ел он вяло, поглядывал в окно, то ли наблюдая что-то, то ли раздумывая.

– Да не думай, ты, Павлуха, брось. Прошное не переделаешь, – наклонился к нему Василий.

– Наверно, так... – покорно согласился парень. Кончив суп и немного помедлив, он спросил меня:

– Из какой партии-то? Не бокситчик, случайно?

Я сказал, что был у бокситчиков недавно. Услышав название базы, парень посмотрел на меня такими глазами, точно лишь сейчас заметил.

– Так ты Сахарова знаешь? И про Коронного слыхал? – Павел вздохнул, будто собирался нырять.

– Не вспоминай, Павлуша, не надо. Я потом сам Феде расскажу, – тихо попросил Василий.

– Он же Сахарова знает, у наших был... – Павел отодвинул тарелку:

...Вышли на дюральке втроем. Налегке. Корецкий хотел посмотреть одно обнажение. Веселый, как всегда. И день ясный. Только недавно мы приехали на Нижнюю Тунгуску, в первый маршрут выходим. Он с киноаппаратом. Снимает, как бачки заливаем, как отплыли. А места красивые. Он любитель был такой дикой красоты...

Вот говорят о предчувствии. Никакого не было у нас предчувствия. Весело начали день. Считали его за легкий, вроде прогулки. Мотор обкатывали.

И вот показалась впереди стремнина. И скала. Называется Смерть. Около нее вода скручивается в две воронки, а каждая больше чем по метру глубиной. Нам про них говорили и пугали. Но мы ведь налегке. Лодка сидит мелко. Да и не такой человек Корецкий, чтоб свернуть, не посмотрев на это место. Он очень осторожный вообще-то, но тут вроде никакой угрозы нет. Лодка в порядке, мотор тоже, спасательные круги на месте.

Правда, он меня за мотором сменил. В трудных местах всегда сам водил, никому не доверял. Посмотрел на скалу и говорит: «Сейчас мимо самой Смерти пройдем!»

Вода там не шумит, как на пороге, а вроде бы свистит, с шипением несет ее между скал. Корецкий правит по гребню, как раз между воронок. Очень правильно идем.

И тут все случилось. До сих пор не пойму – как. Мне показалось, что скала падает на лодку. Не успел я опомниться, как очутился в воде. И перевернутая лодка рядом. Я уцепился за край. Вижу – Корецкий дальше по течению вынырнул. Держится на воде, но бледный-пребледный. Со мной рядом оказался спасательный круг. Я бросил ему, а он мимо пропустил, точно не заметил. И скрылся под водой...

Потом я понял. Так получилось: лодка соскользнула в воронку и перевернулась. Корецкого сильно ударило мотором или бортом. Он же пловец-разрядник, а тут за спасательный круг не мог схватиться. Ударенный он был.

...Только и видел я его. В последний раз. А он меня, наверно, не заметил. Непохожий был на себя. Бледный и глаза пустые, без понимания. Последний раз его видел живым.

Мы-то спаслись. Не так уж это было трудно. И он спасся бы, если б не ушибло его. Второй рабочий, Блинов, выплыл на остров в трех километрах. Я к берегу подгрреб. Дюралька непотопляема ведь.

А Корецкого так и не нашли ни в тот день, ни после. Только через три недели нашли. Уже в Енисее нашли...

Павел сгорбился, приткнулся к столу и нехотя жевал остывшую котлету. Кончив есть, он уперся локтями в колени и некоторое время сидел молча. Потом, не меняя позы и глядя в стол, спросил меня:

– Ты в Подкаменной на Ангаре бывал?..

Меня бросило в жар. Догадка в первое мгновение показалась нелепой, но она пришла, эта догадка. Я не мог выдавить ни слова. Хорошо, что Павел смотрел вниз. Хотя почему же хорошо? Разве он мог что-нибудь знать? Разве мог...

– У меня там жена и ребятишки. Сергей и Андрюшка, сыновья, – сказал Павел. – Они там, а я неизвестно где... Такая, брат, жизнь...

Он не стал выпытывать, был ли я в Подкаменной. Он решил, видно, что мне неинтересно все это после рассказа о гибели Корецкого.

А я не мог двинуться с места. Будто прирос к стулу. Я боялся двигаться. Казалось, шевельни пальцем – Павел сразу обо всем узнает.

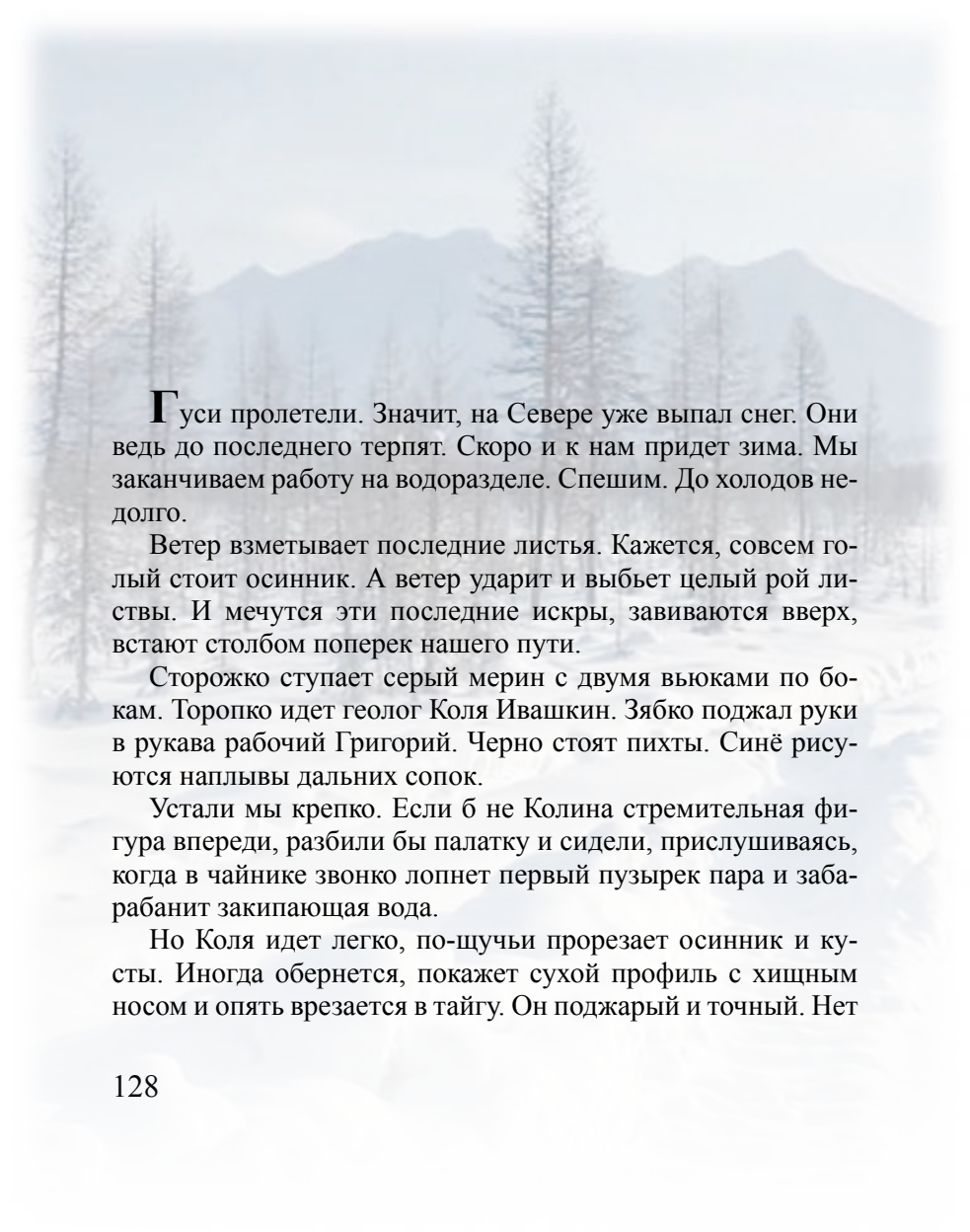
Они поднялись из-за стола, а я сидел. Я понимал – глупо так сидеть пнем, но сидел. Со стороны, наверное, казалось, что я лишь немного замешкался. Мне же думалось, будто я прилип, как муха на бумагу, и совсем не смогу подняться.

Но встал. Фальшиво как-то встал. Фальшиво посмотрел на Павла. Фальшиво пробормотал что-то.

Почему так? В чем я виноват перед ним? Вере стало немножко легче со мной, а мне хорошо с ней. Человеку очень нужна иногда хоть капля внимания, даже спичечный огонек тепла. Неужели верность в том, чтобы отказаться от него и замерзнуть?

Но отчего же так остро это навязчивое чувство фальши? Почему мне так неловко перед Павлом? Почему так не хочется, чтоб он знал обо всем? Не пойму...

Мы проводили его до котлована. Там острыми наплывами выпластывается из-под земли гранит, перфораторщики бурят в нем дырки для шпунта, девушки начисто отмывают его тряпками, и бетонщики укладывают на него бетон водобойных плит. Первый бетон Красноярки.



Гуси пролетели. Значит, на Севере уже выпал снег. Они ведь до последнего терпят. Скоро и к нам придет зима. Мы заканчиваем работу на водоразделе. Спешим. До холодов недолго.

Ветер взметывает последние листья. Кажется, совсем голый стоит осинник. А ветер ударит и выбьет целый рой листьев. И мечутся эти последние искры, завиваются вверх, встают столбом поперек нашего пути.

Сторожко ступает серый мерин с двумя выюками по бокам. Торопко идет геолог Коля Ивашкин. Зябко поджал руки в рукава рабочий Григорий. Черно стоят пихты. Синё рисуются наплывы дальних сопок.

Устали мы крепко. Если б не Колина стремительная фигура впереди, разбили бы палатку и сидели, прислушиваясь, когда в чайнике звонко лопнет первый пузырек пара и забарабанит закипающая вода.

Но Коля идет легко, по-щучьи прорезает осинник и кусты. Иногда обернется, покажет сухой профиль с хищным носом и опять врезается в тайгу. Он поджарый и точный. Нет

на нем ни одной лишней линии, ни одной ненужной нитки. Так уж он обточился в работе. Ни один репей к нему не пристанет. Вроде веретена он. Не терпится ему в этом сезоне пройти по трассе будущего канала.

Задумали интересную штуку – перегородить Ангару в низовье. Получится водохранилище, и урез воды будет намного выше, чем в Енисее. Вода размост узкий проход в водоразделе и самотеком двинет в Енисей. А там построят гидростанцию, и сила ее будет от двух таких огромных рек.

И вот мы идем по трассе канала. Идем по безлюдью, по бесптичью, по бездорожью. Наш след и заметить трудно. А у Коли, в его точеной голове, уже есть водохранилище, и готовый канал, и вода крутится над нами, ползущими по дну. И он плывет через деревья, через водоросли и траву, режет течение, выставляя вперед плечо, обтянутое выгоревшей штурмовкой.

И ведь это мысль, родившаяся у кого-то и прижившаяся в сердце Ивашкина, невидимая и неосязаемая мысль тянет за узду серого мерина, тащит нас через тайгу, заставляет мерзнуть на ветру и жрать надоевшую тушенку с клеклыми рожками. Мы упорствуем в этой мысли и первыми отдаем ей свой труд, свои силы, свои дни.

Так идем мы по жухлой траве, по желтой хвое лиственниц, по жженым сучьям гарей. Ноги и глаза привыкают к ним. Потом привыкают к пятнам снега, к острым резным льдинкам в ручьях, к твердой утренней земле.

Так доходим мы до Ангары, до реки, уже отяжеленной зародившимся в ее глубинах льдом. Она не знает, какая мысль

привела нас сюда. Она позванивает о камни прозрачными кристаллами и курится призрачными парами. Ей нет до нас дела, она идет своим древним путем, и, оглядывая ее ширь, не веришь, что он может стать другим.

Только остро отчеркнутый на воде профиль Ивашкина, его повернутое вперед плечо и вся вылизанная ветрами фигура заставляют вспомнить нашу дорогу.

Ангара еще не знает задуманного человеком. Ангара не обращает на нас внимания. Ей ничего не стоит смять лодку, на которой мы перебираемся к другому берегу, но она не удостаивает нас таким вниманием. И мы очень довольны ее равнодушием. Нам здорово не по себе в лодке. О днище то и дело постукивают прозрачные ножи льда.

И курчавые дымы над поселком так манят и кажутся такими далекими.

И даже когда мы идем по берегу, нам все еще чудится, будто под ногами ледяными когтями скребется Ангара.

Несмотря на вечерний час, мы бредем к причалу, где сбились промерзшие баржи и буксиры. Мы всматриваемся в сумерки и не находим своего катера, который должен нас ждать.

От реки, от бездонной глади, от глуби, где зарождается лед, тянет ветер. Он оттуда, с Енисея, с Ледовитого океана.

Мы идем прочь от реки – искать пристанища на ночь. Здесь не нужна ни палатка, ни костер. Странно искать ночлег в поселке.

Светились окна, светился снег, холодно дрожали звезды. Прохожих почти не было. Иногда мы заходили в дома. Они

были разные, и мы мельком видели разные занятия здешних людей.

Раз попали в библиотеку – теплую большую комнату, где на столах лежали книги, карты, бумаги, подшитые в папки, лежали полевые книжки, затертые по карманам и видевшие за сезон больше, чем иному достанется за всю жизнь.

Потом ткнулись в дом, где по стенам протянулись длинные полки, а на них расставлены образцы пород. Там и на столах громоздились куски камня, коробки и мешочки с песком, землей и какой-то пылью.

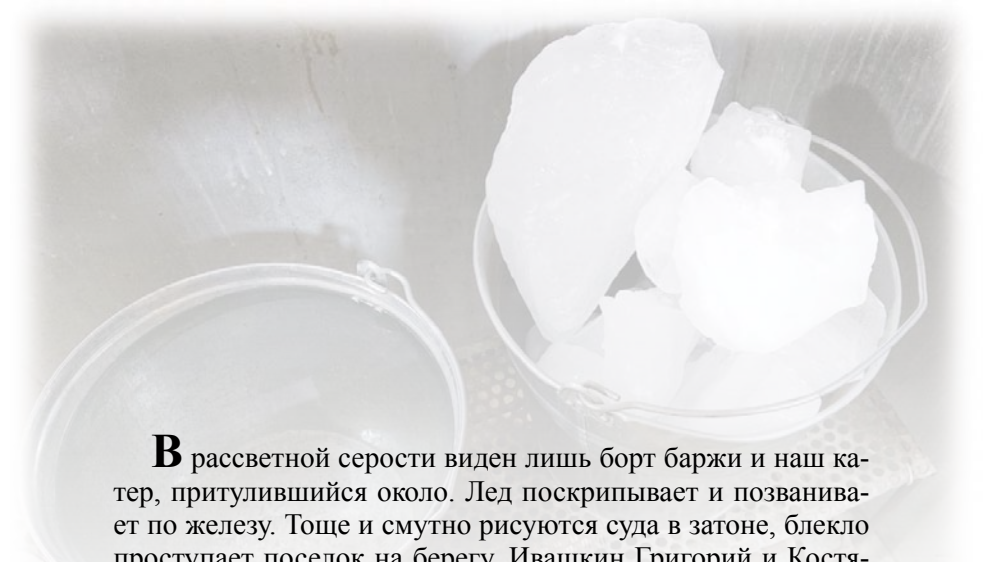
Я попал на мельницу, где камень перетирали в порошок, в лабораторию, где его жгли в вольтовой дуге и синие молнии веером брызгали от спектро스코пов.

И я открыл дверь в какой-то красный полумрак. Он сочился из электрических печей. В них калились пробирки, стаканчики и реторты, рубиново мерцавшие в огненной глубине.

Я видел тигли с бледно-желтыми лепестками золота на дне, видел лотки с колючими алмазами, видел ртуть и свинец, железо и бокситы.

Все, что скрывала земля, по которой мы прошли, здесь открывалось и зацветало, становилось видным для глаза, ощутимым для руки, звонким для слуха.

Здесь шла жатва. По крупичам и зернышкам, по пылинкам люди определяли великие залежи, открывали незнанные месторождения, отыскивали будущие пути.



**В** рассветной серости виден лишь борт баржи и наш катер, притулившийся около. Лед поскрипывает и позванивает по железу. Тоще и смутно рисуются суда в затоне, блекло проступает поселок на берегу. Ивашкин Григорий и Костя-катерист уже сидят в катере. Костя греет мотор. Вой двигателя, резкий и режущий, в этой сырой и холодной туманности. Ждем какого-то бухгалтерера, попутчика.

Сейчас начнется последний в этом сезоне рейс по Ангаре. Последний. Прощай, Ангара! Прощай, Подкаменная! Там такое же льдистое и серое утро. И звенит о камни и шепчет о чем-то своем такая же шуга... Вера черпает ведром воду. Я слышу звук жести о лед... Мне больно от уходящего времени, от его невидимых частичек, пропадающих в невидимой реке, уносящей встречи и расставанья. Это, наверно, та река, о которой говорил старик, когда я спасся от тайги, древняя река тунгусов, с людьми, живущими на ее берегах от начала до конца своих дней. Река времени, звенящая о борт острыми льдинками своих мгновений.

Я оглянулся и увидел бухгалтера. Он шел с женой и нес чемодан. Он проскрипел унтами по палубе баржи, громко поцеловал жену и стал спускаться в катер. Женщина всхлинула и заголосила на весь берег. Она кричала пронзительно, как чайка, высоким ломким голосом. Она причитала, что мы не доедем, она вопила, что нас затрет шугой на пороге.

Только два звука были во всем мире – ее голос и вой мотора. Да потом еще Григорий крикнул ей:

– Не каркай, туды тебя!

А я завидовал бухгалтеру. Я видел Веру на высоком берегу, на осеннем небе в тот последний день.

Баржа стала крениться и отходить. Фигурка женщины уменьшалась, и скоро ее смыло туманом, точно и не было ничего. Только шепталась и звенела шуга, и выл мотор.

Бухгалтер, крепкий малый с желтым от конторской работы лицом, сидел молча. Григорий устроился на сиденье в кабине рядом с Костей. Ивашкин стоял на узком бортике и смотрел вперед.

Это длилось бесконечно. Иногда мы сходили по одному вниз, протискиваясь между бортом и пульсирующим мотором, – погреться. Иногда доставали еду и ели.

Но все время была шуга и мутная равнина реки.

Раз, когда мы сидели, не глядя на воду, Костя пустил двигатель на малые обороты, оставил руль и вылез к нам.

– Порог, – сказал он.

Ивашкин, доставший сигарету для себя, сунул ее в губы Косте.

Здесь совсем не было чистой воды. Сплошная ледяная

каша кипела по всей реке. Рядом, у борта, посредине течения с треском проталкивался через камни колючий, вздувшийся рукав. Катер сидел на этом рукаве и ехал, как на змее. Мы были беспомощны: никакой мотор не справился бы с этой силой, ломящейся через камни, никакой винт, никакой руль не свернул бы эту колючую холодную мешанину.

– Да тут еще эта ворона каркала, туды ее... – выругался Григорий и зло посмотрел на бухгалтера.

Ивашкин молча стоял на носу и смотрел на реку.

Катер подпирало снизу, переваливало с борта на борт. Словно змея, к спине которой мы прилипли, хотела освободиться от ноши.

– Тут и воды совсем нет, по сухому льду идем, – сказал Григорий.

– Только б бортом не повернуло, – пробормотал Костя и достал багры.

Бухгалтер курил, оперевшись подбородком на руку.

Ивашкин молчал. Хищно и непокорно был выбит на ледяных просторах его профиль. Он расставил ноги в потрепанных сапогах, словно хотел шагнуть на лед и стремительно пойти, раздвигая плечом волокна тумана...

И все-таки мы пробились.

Вот наша база на высоком берегу Енисея. Мы поднимаемся по обледелым ступенькам лестницы, вытянутой вверх по обрыву. Там, внизу, в протоке, между берегом и островом серой букашкой виднеется катер.

Мы лезем все выше и гремим сапогами, и звуки звонко падают на реку.

Мы входим в калитку и идем к конторе. Я оглядываюсь, и мне кажется, что калитка открывается в бездну. За ней уплывающий пласт зари и синий берег Енисея, и весь наш путь, невидимо прочеркнутый по реке и земле.

Приглашаем читателей посетить сайт

Николая Димчевского

**dimchevsky.su**

**vk.dimchevsky**

Книги Николая Димчевского можно заказать на сайте  
или по телефону: +7 (921) 355-96-48

Николай Димчевский

**КАЛИТКА В СИНЕВУ**

Обложка (идея) *Роман Нуриев*

Редактор *Татьяна Самсонова*

Художественный редактор и верстка *Нина Рассадина*

Фотографии *Николай Димчевский и Михаил Богдашкин*

Фонд имени Н. В. Димчевского

Формат 70x100/32, Гарнитура Times New Roman.

Бумага офсетная. Тираж 100 экз.

Отпечатано в типографии Супервэйв Групп